

Артур
Шмидлер
I

ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАЗАНОВЪ





Артур
Шницлер

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАЗАНОВЫ**

Перевод с немецкого
А. Зелениной



МОСКВА
МП «ВЕРНИСАЖ»
1993

Ш 77 Шницлер Артур. Возвращение Казановы: Повесть. Пер. с нем. А. Зелениной.— М.: МП «Вернисаж», 1993.— 144 с. ISBN 5-85220-253-3

В книге рассказывается об одном из последних любовных походов стареющего писателя Д. Казановы. Повесть пронизана жгучей тоской по молодости, по ушедшей жизни.

Автор с большим мастерством передает аромат эпохи, тщательно выписывая итальянские пейзажи и картины венецианской жизни.

Ш 4703010100-131
К04 (03)-93

ББК 84

На пятьдесят третьем году жизни Казанова, давно уже гонимый по свету не юношеской жаждой приключений, а тревогой, снедающей человека на пороге старости, почувствовал в душе такую острую тоску по родной Венеции, что стал колесить вокруг нее, все более и более суживая круги — подобно тому как птица постепенно опускается перед смертью на землю с небесных высот. В последние годы своего изгнания он уже не раз обращался к Высшему Совету с просьбой разрешить ему возвратиться на родину; раньше при составлении подобных прошений, которые он писал мастерски, его пером водили упрямство и своеволие, порой и мрачное удовлетворение самим занятием; но с некоторых пор в его почти униженных мольбах все более явно сквозили жгучая тоска и подлинное раскаяние. Он считал, что тем вернее может надеяться на милость, что постепенно стали забываться его былые прегрешения, из коих самыми непростительными членам Совета казались отнюдь не распущенность, задирчивость и плутни, чаще всего веселого свойства, а вольнодумство. К тому же удивительная история его побега из венецианских свинцовых камер, которой он несчетное число раз, не жалея красок, угощал

слушателей при дворах государей, в замках вельмож, за столом у горожан и в домах, пользовавшихся дурной славой, начала заглушать всевозможные худые толки, связанные с его именем; и действительно, влиятельные господа в своих письмах в Мانتую, где Казанова находился уже два месяца, продолжали подавать этому искателю приключений, чей внутренний и внешний блеск понемногу тускнел, надежду, что судьба его вскоре будет решена благоприятно.

Располагая теперь весьма скудными средствами, Казанова решил дожидаться помилования в скромной, но приличной гостинице, где он когда-то останавливался, в более счастливую пору своей жизни, и пока проводил время, не говоря о недуховных развлечениях, от которых он не в силах был окончательно отказаться, главным образом за сочинением памфлета против нечестивца Вольтера, опубликованием которого рассчитывал сразу по возвращении в Венецию прочно укрепить свое положение и приобрести вес в глазах всех благомыслящих людей.

Однажды утром, когда он гулял за городом, поглощенный поисками наиболее законченной формы для уничтожающего довода в споре с безбожником-французом, его вдруг охватила какая-то необычайная, почти физически мучительная тревога. Жизнь, которую он вот уже три месяца влачил изо дня в день — утренние прогулки за городскими воротами, по вечерам небольшие партии в карты у мнимого барона Перотти и его рябой возлюбленной, ласки его уже немолодой, но пылкой хозяйки, даже изучение произведений Вольтера и работа над

его собственными смелыми и, как ему казалось, довольно удачными возражениями Вольтеру,— все это сейчас, в мягком, приторном воздухе летнего утра, представилось ему одинаково бессмысленным и гадким; он пробормотал проклятие, сам толком не зная, кого или что он проклинает; и, сжимая рукоять шпаги и бросая во все стороны злобные взгляды, словно из окружающего его безлюдья на него отовсюду с насмешкой смотрели незримые глаза, вдруг повернул обратно к городу, решив тотчас же начать приготовления к отъезду. Ибо он не сомневался, что сразу почувствует облегчение, если приблизится к вожденной родине еще на несколько миль. Казанова ускорил шаг, чтобы успеть вовремя получить место в почтовой карете, которая перед заходом солнца выезжала в восточном направлении; больше здесь ему делать было нечего; прощальным визитом к барону Перотти можно было пренебречь, а чтобы уложить для путешествия все пожитки, ему довольно было и получаса. Он подумал о своих двух изрядно поношенных камзолах — худший из них был на нем, о не раз чиненном, некогда дорогом белье; это вместе с двумя-тремя табакерками, золотыми часами на цепочке и десятком книг составляло все его имущество; ему вспомнились минувшие дни, когда он разъезжал повсюду в роскошной дорожной карете, как вельможа, снабженный в изобилии всем нужным и ненужным, конечно, со слугой — разумеется, по большей части мошенником, — и от бессильной злобы на глаза его навернулись слезы. Навстречу ему ехала повозка; ею правила молодая женщина с кнутом

в руке, а среди мешков и всякого домашнего скарба храпел ее пьяный муж. Сперва она с насмешливым любопытством посмотрела на Казанову, который с искаженным лицом, бормоча сквозь зубы что-то невнятное, широко шагал по дороге под отцветшими каштанами; но, встретив его сверкнувший гневом ответный взгляд, глаза ее отразили испуг, а когда она проехала мимо и обернулась — выражали похотливую готовность. Казанова, которому было хорошо известно, что гнев и ненависть действуют на молодость сильнее, чем мягкость и нежность, сразу понял, что с его стороны достаточно было бы дерзкого окрика, чтобы остановить повозку, и тогда он мог бы делать с молодой женщиной все, что захочет; но, хотя сознание этого и улучшило на минуту его настроение, он все же решил, что ради такого ничтожного приключения не стоит терять даже нескольких минут; поэтому он дал проехать крестьянской повозке, и она со скрипом продолжала свой путь в пыльном мареве большой дороги.

Тень деревьев слабо защищала от палящих лучей высоко поднявшегося солнца, и Казанова был вынужден постепенно замедлить шаг. Дорожная пыль таким толстым слоем осела на его платье и обуви, что трудно было заметить, как они поношены, а по одежде и осанке Казанова мог вполне сойти за знатного господина, которому вздумалось оставить свой экипаж дома. Перед ним уже вырисовывалась арка городских ворот, вблизи которых находилась гостиница, как вдруг он увидел ехавшую ему навстречу и подпрыгивавшую на ухабах неуклюжую деревенскую колымагу, в которой си-

дел дородный, хорошо одетый и еще нестарый мужчина. Его одолевала дремота, и он сидел, сложив руки на животе, глаза его слипались, но вдруг взгляд его, случайно скользнув по Казанове, оживился, и весь он казался охваченным радостным возбуждением. Он поспешно вскочил на ноги, шлепнулся обратно на сиденье, снова вскочил, толкнул кучера в спину, чтобы тот остановил лошадей, оглянулся назад в продолжавшем катиться экипаже и принялся махать Казанове обеими руками; наконец, он трижды выкрикнул его имя высоким резким голосом. Казанова узнал этого человека только по голосу; он подошел к остановившемуся экипажу, с улыбкой взял обе протянутые ему руки и сказал:

— Неужели это вы, Оливо? Возможно ли?

— Да, это я, синьор Казанова! Вы все же узнали меня?

— Почему бы мне не узнать вас? Правда, со дня вашей свадьбы, когда я видел вас в последний раз, вы несколько пополнели, но, должно быть, и я немало изменился за эти пятнадцать лет, хотя и не пополнел.

— Нисколько,— возразил Оливо,— можно сказать, ни капельки, синьор Казанова. А ведь прошло целых шестнадцать лет, несколько дней назад исполнилось шестнадцать! И, как вы легко можете себе представить, по этому случаю мы с Амалией о вас на досуге говорили...

— В самом деле? Вы оба еще иногда вспоминаете меня? — сердечно проговорил Казанова.

Глаза Оливо увлажнились. Он все еще не выпускал рук Казановы из своих и опять расстроганно их пожал.

— Мы вам стольким обязаны, синьор Казанова! Как нам забыть своего благодетеля? И если мы когда-нибудь...

— Не будем об этом говорить,— перебил его Казанова.— Как поживает синьора Амалия? Чем вообще можно объяснить, что за два месяца, что я в Мантуе,— правда, я веду уединенную жизнь, но, по старой привычке, много гуляю,— как могло случиться, что я ни разу не встретился с вами, Оливо, с вами обоими?

— Очень просто, синьор Казанова! Мы давно уже переселились из города, который, впрочем, ни я, ни Амалия никогда не любили. Окажите мне честь, синьор Казанова, сядьте ко мне в карету, и через час мы будем у нас дома.— Заметив легкий отрицательный жест Казановы, Оливо продолжал:— Не говорите «нет»! Как будет счастлива Амалия, увидев вас снова, с какой гордостью покажет она вам наших троих детей. Да, троих, синьор Казанова. Все девочки — тринадцати, десяти и восьми лет... Так что ни одна из них еще не достигла того возраста, когда, с вашего позволения, Казанова мог бы вскружить ей голову.

Он добродушно засмеялся и сделал такое движение, словно собирался попросту втащить Казанову в свой экипаж. Но Казанова отрицательно покачал головой. Ибо, почти уже поддавшись соблазну удовлетворить естественное любопытство и принять приглашение Оливо, опять почувствовал нетерпение, овладевшее им с новой силой, и стал уверять Оливо, что, к сожалению, должен еще до вечера выехать по важным делам из Мантуи. В самом деле, что ему было делать в доме Оливо? Шестнадцать лет — долгий срок! Амалия за это время, разу-

меется, не стала моложе и красивее, а ее тринадцатилетней дочке он, в его годы, вряд ли покажется особенно привлекательным; любоваться же в деревенской обстановке самим синьором Оливо, превратившимся из тощего, поглощенного занятиями юноши, каким он был прежде, в мужиковатого и толстого отца семейства, казалось ему не таким уж заманчивым, чтобы ради этого откладывать поездку, которая могла приблизить его к Венеции еще на десять или двадцать миль. Однако Оливо, по-видимому, не собиравшийся принять без возражений отказ Казановы, настоял на том, что он прежде всего доставит его в своем экипаже в гостиницу, в чем Казанова не смог ему воспрепятствовать. Через несколько минут они были у цели. Хозяйка, статная женщина лет тридцати пяти, встретила Казанову у ворот взглядом, не оставившим у Оливо никаких сомнений в существовавшей между ними нежной связи. Она протянула Оливо руку, как доброму знакомому, и тут же пояснила Казанове, что Оливо всегда поставляет ей из своего имения особый, очень хороший сорт сладковато-терпкого вина. Оливо не преминул пожаловаться ей на то, что шевалье де Сенгаль (ибо именно так хозяйка назвала Казанову, и Оливо не замедлил воспользоваться тем же обращением) чересчур жесток, отвергая приглашение вновь обретенного старого друга по той смехотворной причине, что он должен сегодня, непременно сегодня же, покинуть Мантую. При виде изумленного лица хозяйки Оливо сразу понял, что ей еще неизвестно намерение гостя, и потому Казанова счел за благо объяснить, что его отъезд был на самом деле отговоркой,

ибо он не хотел обременять семейство своего друга столь неожиданным посещением. В действительности же он намерен, даже обязан, завершить в течение ближайших дней серьезный литературный труд, для чего нет более подходящего места, чем эта превосходная гостиница, где в его распоряжении — прохладная и покойная комната. На это Оливо ответил торжественными уверениями, что для его скромного дома будет величайшей честью, если шевалье де Сенгаль доведет там до конца этот труд. Сельское уединение может лишь благоприятствовать такой задаче; ученые трактаты и книги, ежели они понадобятся, тоже окажутся под рукой, ибо его, Оливо, племянница, дочь его покойного сводного брата, юная, но, несмотря на свою юность, весьма ученая девушка, несколько недель тому назад приехала к ним с целым сундуком книг; а если случайно вечерком соберутся гости, то к шевалье это не будет иметь никакого касательства; разве что после целого дня напряженного труда веселая беседа и небольшая партия в карты покажутся ему желанным развлечением. Едва Казанова услышал о юной племяннице, как он тотчас решил поглядеть на это создание вблизи. Делая вид, будто все еще колеблется, он в конце концов уступил настояниям Оливо, хотя и объявил, что ни в коем случае не может покинуть Мантую более чем на день-два, а также попросил свою любезную хозяйку незамедлительно пересылать ему с нарочным все письма, которые придут сюда и, возможно, окажутся чрезвычайно важными. Когда все было решено, к великому удовольствию Оливо, Казанова отправился в свою комнату, чтобы при-

готовиться в путь и уже через четверть часа вернуться в общую залу, где тем временем Оливо вступил с хозяйкой в оживленный деловой разговор. Оливо поднялся, допил стоя свое вино и, понимающе подмигнув, обещал хозяйке доставить ей шевалье, хотя и не завтра и не послезавтра, но, во всяком случае, целым и невредимым. Однако Казанова, внезапно ставший рассеянным, простился со своей гостеприимной хозяйкой так холодно и торопливо, что только у дверцы экипажа она успела шепнуть ему на ухо отнюдь не ласковое напутственное словечко.

Пока они ехали по раскаленной полуденным зноем пыльной дороге, Оливо пространно и довольно беспорядочно рассказывал о своей минувшей жизни: вскоре после женитьбы он купил близ города крохотный участок земли и открыл небольшую торговлю овощами; потом, понемногу расширяя свои владения, занялся сельским хозяйством, и, наконец, благодаря усердию своему и своей супруги, ему, с божьего благословения, три года назад удалось купить у обремененного долгами графа Мараццани старый, немного обветшалый замок с виноградниками. Там, в дворянском поместье, они с женой и детьми зажили на славу, хотя и отнюдь не по-графски. И всем этим он обязан ста пятидесяти золотым, которые Казанова подарил его невесте или, вернее, ее матери; если бы не эта, точно по волшебству, явившаяся помощь, то его доля и поныне была бы все та же — обучать грамоте распущенных сорванцов, и он, по всей вероятности, остался бы старым холостяком, а Амалия — старой девой... Казанова не прерывал его рассказа, но

почти его не слушал. В его памяти всплыло приключение, которое он затеял тогда, одновременно с другими, более значительными; самое мелкое из всех, оно совсем не занимало места ни в его душе, ни, впоследствии, в его воспоминаниях. По пути из Рима в Турин или в Париж — он уже хорошо не помнил, — ненадолго остановившись в Мантуе, он однажды утром увидел в церкви Амалию; ему понравилось ее красивое, бледное, чуть заплаканное лицо, и он обратился к ней с каким-то приветливым и любезным вопросом. В те времена к нему были ласковы все женщины, и Амалия тоже охотно открыла ему свое сердце; он узнал, что она, живя в нужде, полюбила бедного школьного учителя, отец которого наотрез отказывается, как и ее мать, в своем согласии на их брак, не сулящий ничего доброго. Казанова тотчас же вызвался помочь ее беде. Прежде всего он попросил Амалию познакомить его с матерью, и так как тридцатилетняя вдова была еще достаточно привлекательна, чтобы притязать на поклонение, то Казанова вскоре свел с ней столь тесную дружбу, что мог от нее всего добиться. Лишь только она перестала противиться этому браку, дал свое согласие и отец Оливо, разорившийся купец, особенно после того, как Казанова, представленный ему как дальний родственник матери невесты, великодушно обещал устроить на свои средства свадьбу и дать деньги на приданое. Сама же Амалия сумела отблагодарить великодушного покровителя, который показался ей посланцем из иного, недоступного для нее мира, только так, как ей повелевало сердце, и когда в канун свадьбы она с пылающими

щеками вырвалась из последних объятий Казановы, то была весьма далека от мысли, что провинилась перед своим женихом; ведь он был обязан всем своим счастьем лишь любезности и великодушию этого удивительного чужестранца. Узнал ли Оливо о безмерной признательности Амалии к своему благодетелю от нее самой и принял ее жертву как необходимое условие, а потому впоследствии не испытывал ревности, или же все случившееся и поныне оставалось для него тайной,— все это ни тогда, ни теперь несколько не занимало Казанову.

Зной все усиливался. Громыхающий экипаж с плохими рессорами и твердыми подушками безжалостно трясло, пискливая благодушная болтовня Оливо, без усталости рассказывавшего спутнику о плодородии своих земель, о достоинствах жены, о благовоспитанности детей, о добрососедских отношениях с окрестными крестьянами и дворянами, начала докучать Казанове, и он с раздражением подумал, чего ради он, в сущности, принял приглашение, которое может принести ему одни неудобства и даже разочарование. Ему захотелось очутиться в Мантуе, в прохладной комнате, где он в этот час мог бы спокойно продолжать работу над памфлетом против Вольтера, и он решил выйти из кареты у ближайшего постоянного двора, уже показавшегося вдали, и, наняв первый попавшийся экипаж, вернуться обратно, как вдруг Оливо громко закричал: «Эй! Эй!» — замахал по своей привычке обеими руками и, ухватив Казанову за рукав, показал ему на повозку, точно по уговору остановившуюся рядом с их экипажем. Из нее одна за другой

выскочили три девочки, а узкая доска, служившая им сиденьем, взлетела на воздух и опрокинулась.

— Мои дочери,— не без гордости представил их Оливо Казанове и, когда тот незамедлительно сделал вид, будто собирается уступить им свое место, сказал:— Сидите, сидите, дорогой шевалье, через четверть часа мы будем у цели, а на это время мы уж как-нибудь все поместимся в экипаже. Мария, Нанетта, Терезина, смотрите, это шевалье де Сенгаль, старый друг вашего отца, подойдите и поцелуйте ему руку, ведь, не будь его, вас бы...— Он запнулся и шепнул Казанове:— Я чуть не ляпнул глупость.— Потом громко поправился:— Не будь его, многое было бы иначе!

Все девочки, такие же черноволосые и темноглазые, как Оливо, в том числе и старшая, Терезина, казались еще совсем детьми и разглядывали незнакомца с непринужденным грубоватым любопытством; младшая, Мария, послушная приказанию отца, и в самом деле собиралась поцеловать ему руку; но Казанова не допустил этого: взяв каждую из девочек за голову, он по очереди всех поцеловал в обе щеки. Тем временем Оливо обменялся несколькими словами с парнем, который привез в повозке детей, после чего тот хлестнул лошадь и покатил дальше по дороге в Мантую.

Девочки, смеясь и весело препираясь, уселись на скамеечке против Оливо и Казановы. Тесно прижавшись друг к другу, они тараторили все разом, а поскольку отец их тоже не умолкал, то вначале Казанове было нелегко понять, о чем они, собственно, болтают. Было

названо имя какого-то лейтенанта Лоренци; как сообщила Терезина, он несколько минут назад проскакал мимо них верхом, обещал приехать вечером в гости и велел передать почтительнейший привет отцу. Потом дети сказали, что мать тоже сначала собиралась поехать с ними навстречу отцу, но, побоявшись жары, предпочла остаться дома вместе с Марколиной. А когда они выезжали из дому, Марколина еще нежилась в постели, и они через открытое окно закидали ее из сада ягодами и орехами, не то она спала бы еще и теперь.

— Это не в обычае у Марколины,— заметил Оливо своему гостю,— большей частью она уже с шести часов утра, а то и раньше сидит в саду со своими книжками и занимается до полудня. Правда, у нас вчера были гости, и мы засиделись позже обыкновенного; даже играли по маленькой в карты,— не так, как, вероятно, привык играть шевалье, но мы люди безобидные и у нас не принято оставлять друг друга без гроша. А поскольку в игре обычно участвует и наш достойный аббат, то можете себе представить, шевалье, что мы не слишком грешим.

Когда речь зашла об аббате, девочки рассмеялись и стали рассказывать друг другу бог весть что, смеясь еще пуще. Но Казанова только рассеянно кивал головой. В его воображении предстала эта еще незнакомая ему Марколина, лежащая против окна в своей белой постели: с ее полуобнаженного тела соскользнуло на пол одеяло, и отяжелевшими от сна руками она защищается от летящих в нее ягод и орехов,— и он загорелся безрассудным

желанием. Что Марколина была возлюбленной лейтенанта Лоренци, он ничуть не сомневался, словно своими глазами видел их в самых нежных объятиях, и он готов был возненавидеть незнакомого ему Лоренци так же сильно, как его потянуло к никогда не виденной им Марколине.

В дрожащем мареве полудня, возвышаясь над серо-зеленой листвой, появилась четырехугольная башенка. Карета вскоре свернула с большой дороги на проселочную; слева полого поднимались раскинувшиеся на холме виноградники, справа над садовой оградой наклонялись вершины старых деревьев. Карета остановилась у широко распахнутых ветхих ворот. Седоки вышли, и кучер по знаку Оливо поехал дальше, к конюшне. Широкая каштановая аллея вела к дому, который казался на первый взгляд довольно жалким, даже запущенным. Казанове сразу бросилось в глаза разбитое окно в первом этаже; не укрылось от него и то, что кое-где обвалилась балюстрада, окружавшая площадку широкой и низкой башни, несколько неуклюже венчавшей здание. Но входные двери были украшены искусной резьбой, а войдя в переднюю, Казанова увидел, что внутри дом хорошо сохранился, во всяком случае, гораздо лучше, чем можно было предположить по его внешнему виду.

— Амалия,— позвал Оливо так громко, что среди сводчатых стен прозвучало эхо,— спускайся скорее! Амалия, я привез тебе гостя, да еще какого!

Но Амалия еще раньше появилась на верхних ступенях лестницы, невидимая для вошед-

ших с яркого солнца в полумрак. Казанова, чьи острые глаза сохранили способность пронзать даже ночную тьму, заметил ее раньше, чем супруг. Он улыбнулся и сразу почувствовал, что улыбка эта его молодит. Вопреки его опасениям, Амалия нисколько не расплылась, она казалась стройной и моложавой. Она узнала его сразу.

— Какой сюрприз, какое счастье! — воскликнула она без всякого смущения, быстро сбегала по ступенькам и, здороваясь, подставила Казанове щеку, а он без церемоний дружески ее обнял.

— И я должен верить, — сказал он, — что Мария, Нанетта и Терезина — родные ваши дочери, Амалия? Судя по времени, это возможно...

— Судя по всему прочему, тоже, — подхватил Оливо, — не сомневайтесь в этом, шевадье!

— Ты, должно быть, опоздал из-за встречи с шевадье, Оливо? — спросила Амалия, устремив на гостя затуманенный воспоминаниями взгляд.

— Да, но надеюсь, несмотря на опоздание, у тебя найдется что-нибудь поесть, Амалия?

— Мы с Марколиной, хотя и проголодались, конечно, не сядились без вас за стол.

— Не потерпите ли вы еще немного, пока я стряхну дорожную пыль со своего платья и приведу себя в порядок? — спросил Казанова.

— Сейчас я вам покажу вашу комнату, шевадье, — сказал Оливо, — надеюсь, вы будете довольны, почти так же довольны... — Он подмигнул и, понизив голос, добавил: — Как

гостиницей в Мантуе, хотя кое-чего здесь вам и будет недоставать.

Он пошел вперед по лестнице на галерею, которая тянулась четырехугольником вдоль стен прихожей; из дальнего угла ее шла наверх узкая деревянная винтовая лестница. Поднявшись по ней, Оливо открыл дверь в башню, остановился на пороге и, пересыпая свою речь извинениями, предложил Казанове расположиться в этой скромной комнате для гостей. Служанка внесла чемодан и удалилась вместе с Оливо, и Казанова остался один в небольшой комнате, снабженной всем необходимым, но довольно голой, с четырьмя узкими и высокими стрельчатыми окнами; из них во все стороны далеко открывался вид на залитую солнцем равнину с зелеными виноградниками, пестрыми лугами, золотыми нивами, белыми дорогами, светлыми домами и темными пятнами садов. Казанова не стал долго любоваться видом и быстро привел себя в порядок, не столько потому, что был голоден, сколько потому, что его мучило любопытство: ему хотелось как можно скорее встретиться лицом к лицу с Марколиной; он даже не переоделся, так как хотел предстать в полном параде вечером.

Войдя в расположенную в нижнем этаже столовую, обшитую деревянными панелями, Казанова увидел за уставленным кушаньями столом, кроме супругов и их трех дочерей, грациозную девушку в простом сером, мягко ниспадающем платье, посмотревшую на него безо всякого стеснения, как будто он был одним из домочадцев или, по крайней мере, сто раз бывал здесь в гостях. Что взгляд ее не

зажегся тем огнем, которым его так часто встречали прежде женщины, когда он впервые являлся им в пленительном блеске юности или в опасной красоте зрелых лет, конечно, давно уже было ново для Казановы. Но и в последнее время достаточно было упомянуть его имя, чтобы вызвать на устах у женщин слова запоздалого восхищения или хотя бы безмолвный трепет сожаления — как признание того, сколь приятна была бы встреча с ним несколькими годами раньше. А теперь, когда Оливо представил своей племяннице господина Казанову, шевалье де Сенгаль, она улыбнулась совершенно так же, как улыбнулась бы, если бы ей назвали любое, ничем не примечательное имя, не прославленное приключениями и не овеянное тайнами. И даже тогда, когда он сел рядом с ней, поцеловал ей руку и глаза его метнули на нее целый сноп искр восхищения и желаний, на лице ее не отразилось и легкого удовлетворения, которого все же можно было бы ожидать как скромного ответа на выражение столь пылкого восторга.

После первых слов Казанова дал понять своей соседке, что осведомлен об ее учености, и спросил ее, какой науке она отдает предпочтение. Она ответила, что изучает главным образом высшую математику, в которую посвятил ее известный преподаватель Болонского университета профессор Морганьи. Казанова выразил удивление такому и впрямь необычному интересу к столь трудному прозаическому предмету со стороны привлекательной молодой девушки, но Марколина ответила, что, по ее мнению, из всех наук высшая математика — самая фантастическая,

можно сказать, поистине божественная по своей природе. Когда же Казанова попросил подробнее разъяснить ему этот совершенно новый для него взгляд, то Марколина скромно отклонила его просьбу и заявила, что всем присутствующим — и прежде всего ее дорогому дяде — будет, наверное, гораздо приятнее узнать о приключениях объездившего весь свет друга, которого он так давно не видел, чем слушать философский разговор. Амалия горячо поддержала просьбу Марколины, и Казанова, всегда готовый уступить желаниям подобного рода, заметил мимоходом, что в последние годы он преимущественно выполнял секретные дипломатические поручения, заставлявшие его скитаться — если назвать лишь большие города — между Мадридом, Парижем, Лондоном, Амстердамом и Санкт-Петербургом. Он описывал встречи и беседы серьезного и веселого характера с мужчинами и женщинами самых различных сословий, не забыл также упомянуть о любезном приеме, оказанном ему при дворе российской императрицы Екатерины Второй, и очень забавно рассказал, как Фридрих Великий чуть было не назначил его воспитателем в кадетском корпусе для померанских дворян; от этой опасности он, впрочем, спасся поспешным бегством. Об этом и о многом другом он говорил как о событиях совсем недавних, а не отошедших в прошлое на многие годы, даже на десятки лет, как это было в действительности; кое-что он присочинял, сам не отдавая себе отчета, где правда и где вымысел, и радовался своему настроению, а также интересу, с коим его слушали. Пока он рассказывал и фанта-

зировав, ему казалось, что он и теперь — все тот же избалованный счастьем, дерзкий и блестящий Казанова, который разъезжал по всему свету с красавицами, которого дарили своей благосклонностью светские и духовные князья, который промотал, проиграл и раздарил тысячи, а не опустившийся прихлебатель, получающий от старых друзей из Англии и Испании смехотворно малые подачки, а порой и вовсе ничего не получающий и вынужденный тогда довольствоваться несколькими жалкими золотыми, выигранными у барона Перотти и у его гостей; да, он даже забыл о том, что представлялось ему теперь заветной целью, — о стремлении закончить свою жизнь, некогда столь блистательную, самым ничтожным гражданином, писцом, нищим в своем родном городе, где его сперва заточили в тюрьму, а после побега предали анафеме и объявили изгнанником.

Марколина тоже слушала его внимательно, но с таким выражением, словно ей читают вслух занимательную книгу. Она знала, кто сидит перед ней, — человек, мужчина, сам Казанова, переживший все эти приключения и еще многие другие, о которых он не рассказывал, возлюбленный тысячи женщин, но по лицу ее нельзя было это прочесть. Совсем иное выражение светилось в глазах Амалии. Для нее Казанова остался тем же, что и прежде; для нее голос его звучал так же чарующе, как шестнадцать лет назад, и Казанова чувствовал, что стоит ему только сказать слово, а может быть, и того меньше, чтобы по первому его желанию возобновилась прежняя интрига. Но что значила для него сейчас Амалия,

если его влекло к Марколине, как никогда ни к одной женщине до нее? Ему казалось, что сквозь облегающее ее матовым блеском платье он видит ее обнаженное тело; ее юная грудь, как расцветающие бутоны, стремилась ему навстречу, а когда она наклонилась, чтобы поднять упавший на пол платочек, воспламенившееся воображение Казановы придало ее движению такой сладострастный смысл, что он чуть не упал в обморок. От Марколины не укрылось ни то, что он, рассказывая, невольно запнулся, ни то, что его взгляд зажегся странным огнем, но в ее глазах он прочел внезапное удивление, настороженность и даже промелькнувшее отвращение. Казанова быстро овладел собой и уже был готов с новым воодушевлением продолжать свой рассказ, как в комнату вошел тучный священник. Хозяин дома, здороваясь с ним, назвал его аббатом Росси, а Казанова сразу узнал в нем того человека, с которым он встретился двадцать семь лет назад на купеческом судне, направлявшемся из Венеции в Кьоджу.

— У вас была тогда повязка на глазу,— заметил Казанова, редко упускавший случай блеснуть своей превосходной памятью,— и какая-то крестьянка в желтом платке посоветовала вам воспользоваться целебной мазью, случайно оказавшейся у молодого аптекаря с очень хриплым голосом.

Аббат кивнул головой и, польщенный, улыбнулся. Но затем с лукавым видом подошел вплотную к Казанове, точно хотел сообщить ему какую-то тайну, однако сказал громко:

— А вы, господин Казанова, находились в числе участников свадебного торжества... не

знаю, были ли вы случайным гостем или шафером невесты; во всяком случае, невеста бросала на вас гораздо более нежные взоры, чем на жениха... Поднялся ветер, чуть ли не буря, а вы стали читать какое-то весьма смелое стихотворение.

— Шевалье сделал это, разумеется, только для того, чтобы укротить бурю,— сказала Марколина.

— Такой волшебной силы,— возразил Казанова,— я себе никогда не приписывал, но не стану отрицать, что, когда я начал читать, никого уже больше не тревожила буря.

Девочки окружили аббата, заранее зная, что будет, а он пригоршнями вытаскивал из своих бездонных карманов всякие лакомства и толстыми пальцами клал их детям в рот. Тем временем Оливо со всеми подробностями рассказывал аббату о своей неожиданной встрече с Казановой. Амалия, как замороженная, не сводила сияющих глаз с властного смуглого лица дорогого гостя. Дети убежали в сад; Марколина поднялась с места и смотрела на них в открытое окно. Аббат передал поклон от маркиза Чельси: если здоровье ему позволит, он придет вечером вместе с супругой к своему дорогому другу Оливо.

— Очень удачно,— ответил тот,— таким образом, в честь шевалье для игры соберется приятная маленькая компания; я жду также братьев Рикарди; Лоренци тоже придет; дети встретились с ним во время его верховой прогулки.

— Он все еще здесь?— удивился аббат.— Еще неделю назад говорили, что он должен вернуться в полк.

— Маркиза, должно быть, выхлопотала ему у полковника отпуск,— смеясь, заметил Оливо.

— Удивительно, что в такое время мантуанским офицерам разрешают отпуск,— вставил Казанова.— Два моих знакомых офицера — один из Мантуи, другой из Кремоны,— стал он придумывать дальше,— выступили ночью со своими полками по направлению к Милану.

— Разве начинается война? — спросила Марколина, стоя у окна. Она обернулась, черты ее лица, на которое падала тень, были неразличимы, и легкую дрожь в ее голосе уловил один лишь Казанова.

— Все, может быть, уладится,— сказал он небрежно.— Но поскольку испанцы ведут себя угрожающе, надо быть готовыми.

— Известно ли вообще,— важно спросил Оливо, наморщив лоб,— на какой стороне мы будем драться — на стороне испанцев или французов?

— Лейтенанту Лоренци это, должно быть, безразлично,— вмешался аббат.— Лишь бы ему наконец удалось проявить свою храбрость.

— Он уже ее проявил,— возразила Амалия.— Три года назад он сражался под Павией. Марколина молчала.

Казанова узнал достаточно. Он подошел к Марколине и окинул сад внимательным взглядом. Ничего не было видно, кроме широкой лужайки, где играли дети; она замыкалась рядом высоких и густых деревьев, росших вдоль каменной ограды.

— Какое прекрасное имение! — обратился он к Оливо.— Мне хотелось бы осмотреть его получше.

— А мне,— отвечал Оливо,— ничто не могло бы доставить большего удовольствия, как показать вам свои виноградники и поля, шева-лье! Да, сказать вам правду, с тех пор как это маленькое именье принадлежит мне — спросите Амалию,— я все годы ничего так не желал, как принять вас наконец в собственных владениях. Десятки раз я собирался вам написать и пригласить вас. Но разве мог я когда-нибудь рассчитывать на то, что письмо вас застанет? Если передавали, что недавно вас видели в Лиссабоне, то можно было не сомневаться, что вы уже успели уехать в Варшаву или в Вену. А теперь, когда я каким-то чудом встретил вас как раз в тот час, когда вы собирались покинуть Мантую, и мне удалось — а это было нелегко, Амалия! — привезти вас к себе, то вы так дорожите своим временем, что — подумайте только, господин аббат! — соглашаетесь подарить нам не более двух дней!

— Может быть, удастся уговорить шева-лье, чтобы он продлил свое пребывание у вас,— ответил аббат, смакуя во рту кусочек персика, и бросил на Амалию быстрый взгляд, из которого Казанова заключил, что она оказала аббату больше доверия, чем своему супругу.

— К сожалению, это невозможно,— твердо сказал Казанова,— я не могу скрыть от друзей, выказывающих такое участие к моей судьбе, что мои венецианские сограждане собираются — хотя и с некоторым опозданием, но с тем большим почетом для меня — загладить несправедливость, которую совершили по отношению ко мне много лет назад, и я не могу

дольше отказывать им в их настоятельных просьбах, не желая прослыть неблагодарным или даже злопамятным.

Легким движением руки он отклонил вопрос, готовый сорваться с языка благоговевшего перед ним, но любопытного Оливо, и быстро проговорил:

— Итак, Оливо, я готов. Покажите мне свое маленькое королевство.

— Не лучше ли,— заметила Амалия,— дожидаться, пока станет прохладнее? Шевалье будет теперь, наверное, приятнее немного отдохнуть или прогуляться в тени?

И глаза ее засветились такой робкой мольбой, обращенной к Казанове, как будто во время этой прогулки по саду вторично должна была решиться ее судьба. Никто не возражал против предложения Амалии, и все направились в сад. Марколина, которая шла впереди, побежала по залитой солнцем лужайке к детям, игравшим в волан, и немедленно приняла участие в игре. Она была чуть выше ростом старшей из трех девочек, и теперь, когда упавшие ей на плечи волосы развевались на ветру, сама казалась ребенком. Оливо и аббат сели на каменную скамью в аллее неподалеку от дома. Амалия пошла дальше рядом с Казановой. Когда уже никто не мог их услышать, она заговорила с ним так, как говорила когда-то, словно никогда и не говорила иначе:

— Ты опять со мной, Казанова! С каким нетерпением ждала я этого дня! Я знала, что он когда-нибудь наступит.

— Я оказался здесь случайно,— холодно ответил Казанова. Амалия только улыбнулась.

— Объясняй это как хочешь. Ты здесь! В течение этих шестнадцати лет я только и мечтала об этом дне.

— Надо полагать, что за эти годы ты мечтала еще и о другом, и не только мечтала,—возразил Казанова. Амалия покачала головой.

— Ты знаешь, что это не так, Казанова. И ты тоже меня не забыл, иначе ты не принял бы приглашения Оливо, когда ты так торопишься в Венецию!

— Ты что вообразила, Амалия? По-твоему, я приехал сюда из желания сделать рогиносцем твоего доброго мужа?

— Зачем ты так говоришь, Казанова? Если я снова буду твоей, то это не обман и не грех!

Казанова громко рассмеялся.

— Не грех? Почему не грех? Не потому ли, что я старик?

— Ты не стар. Для меня ты никогда не состаришься. В твоих объятиях я впервые вкусила блаженство, и мне, видимо, суждено испытать его и в последний раз с тобой.

— В последний раз?—насмешливо повторил Казанова, хотя и был слегка растроган.— Против этого, пожалуй, найдутся возражения у моего друга Оливо.

— С ним,—ответила Амалия, краснея,—с ним—это долг, пожалуй, даже удовольствие, но не блаженство... и никогда блаженством не было.

Они не дошли до конца аллеи, словно боялись приблизиться к лужайке, где играли Марколина и дети, повернули, как бы по уговору, обратно и вскоре молча подошли к дому. На его торцевой стороне одно окно нижнего

этажа было открыто настежь. Казанова разглядел в темной глубине комнаты наполовину отодвинутую занавесь, за которой виднелось изножье кровати. Рядом на стуле висело платье, светлое и легкое, как вуаль.

— Комната Марколины? — спросил Казанова.

Амалия кивнула головой и как будто без всякого подозрения весело спросила:

— Она тебе нравится?

— Да, она хороша.

— Хороша и добродетельна.

Казанова пожал плечами, как бы желая сказать, что не спрашивал об этом. Потом проговорил:

— Если бы сегодня ты увидела меня впервые, мог бы я понравиться тебе, Амалия?

— Не знаю, изменился ли ты с тех пор. Я вижу тебя таким, каким ты был тогда. Каким я видела тебя всегда, даже во сне.

— Взгляни на меня, Амалия! Эти морщины на лбу... Складки на шее. Глубокие борозды, идущие от глаз к вискам. А вот здесь, в глубине, у меня не хватает зуба,— он ослабился.— А эти руки, Амалия! Посмотри на них! Пальцы, как когти... мелкие желтые пятнышки на ногтях... И жилы—синие и вздувшиеся. Руки старика, Амалия!

Она взяла обе руки его, протянутые к ней, и в тени аллеи с благоговением поцеловала их одну за другой.

— А сегодня ночью я хочу целовать твои губы,— сказала она с покорным и нежным видом, который его рассердил.

Невдалеке от них, на краю лужайки, в траве лежала Марколина, закинув руки за голову

и устремив взгляд вверх; над нею пролетали мячи, которые бросали дети. Вдруг она вытянула руку, чтобы схватить мяч. Поймав его, она звонко расхохоталась, дети накинулись на нее, и она не могла от них отбиться, кудри ее развевались. Казанова весь задрожал.

— Ты не будешь целовать ни моих губ, ни рук,—сказал он Амалии,—тщетным окажется твое ожидание и тщетными твои мечты, если только я прежде не буду обладать Марколиной.

— Ты обезумел, Казанова!—горестно воскликнула Амалия.

— Нам не в чем упрекать друг друга,—продолжал Казанова.—Ты обезумела, думая, что видишь опять во мне, старике, возлюбленного времен своей юности, я—вбив себе в голову, что должен обладать Марколиной. Но, быть может, обоим нам суждено образумиться. Пусть Марколина сделает меня вновь молодым—для тебя. Так помоги мне, Амалия!

— Ты не в своем уме, Казанова. Это невозможно. Она и знать не хочет мужчин.

Казанова расхохотался.

— А лейтенант Лоренци?

— При чем тут Лоренци?

— Он ее любовник, я это знаю.

— Ты глубоко ошибаешься, Казанова. Он просил ее руки, но она ему отказала. А он молод и красив, он даже кажется мне красивее, чем когда-то был ты, Казанова!

— Он к ней сватался?

— Спроси Оливо, если не веришь мне.

— Что ж, мне это безразлично. Какое мне дело, девица ли она или девка, невеста или вдова; я хочу обладать ею, я хочу ее!

— Я не могу тебе ее дать, мой друг! — И по звуку ее голоса Казанова почувствовал, что ей жаль его.

— Вот видишь, — сказал он, — каким ничемным человеком я стал, Амалия. Еще десять, еще пять лет назад мне не понадобилась бы ничья помощь или заступничество, будь Марколина даже богиней добродетели. А теперь я хочу сделать тебя сводней. Иное дело, будь я богат... Да, с десятью тысячами дукатов... Но у меня нет и десяти, я нищий, Амалия.

— И за сто тысяч ты не добился бы Марколины. К чему ей богатство? Она любит книги, небо, луга, бабочек и игры с детьми... Ей с избытком хватает ее маленького наследства.

— О, будь я князем! — воскликнул Казанова, впадая в напыщенный тон, что бывало с ним, когда его обуревала подлинная страсть. — Будь у меня власть бросать людей в тюрьму, казнить их... Но я — ничто. Я попрошайка и к тому же лгун. Я выпрашиваю у венецианских вельмож должность, кусок хлеба, родину! Что со мной стало? Я не внушаю тебе отвращения, Амалия?

— Я люблю тебя, Казанова!

— Так добудь мне ее, Амалия! Ты можешь, я знаю. Говори ей что угодно. Скажи, что я вам угрожал, что ты считаешь меня способным поджечь ваш дом. Скажи ей, что я безумец, опасный безумец, убежавший из сумасшедшего дома, но что девичьи объятия могли бы меня исцелить. Да, скажи ей это.

— Она не верит в чудеса.

— Как? Не верит в чудеса? Значит, она не верит и в бога? Тем лучше! Я на хорошем счету

у миланского архиепископа! Скажи ей это. Я могу погубить ее. Могу погубить всех вас. Это правда, Амалия! Что за книги она читает? Среди них, без сомнения, есть запрещенные церковью? Дай мне на них взглянуть. Я составлю список. Одного моего слова...

— Молчи, Казанова! Вот она идет. Не выдай себя. Как бы тебя не выдали твои глаза! Никогда, Казанова, никогда,—слушай меня внимательно,—никогда не знала я более чистого существа. Если бы она подозревала, что мне сейчас пришлось услышать, она сочла бы себя оскверненной, и, сколько бы ты ни жил здесь, ты бы больше ее не увидел. Поговори с нею. Да, да, поговори с нею, и ты будешь просить у меня, ты будешь просить у нее прощения.

Подошла Марколина с детьми. Девочки убежали в дом, а она, как бы желая оказать гостю любезность, остановилась перед ним. Амалия, по-видимому, нарочно удалилась. И тут на Казанову в самом деле как бы повеяло суровой чистотой от этих бледных полуоткрытых губ, от этого гладкого лба, обрамленного темно-русскими, теперь подобранными волосами. Чувство какого-то умиления, смирения, лишенное малейшего плотского желания, чувство, какого Казанова почти никогда не испытывал к женщине и даже к самой Марколине, когда видел ее в замке, овладело его душой. И сдержанным, почтительным тоном, каким принято разговаривать с людьми более высокого происхождения и какой должен был польстить Марколине, Казанова обратился к ней с вопросом, намерена ли она опять посвятить научным занятиям наступающие вечерние часы.

Она ответила, что в деревне у нее нет вообще расписания для занятий, но она ничего не может поделать с тем, что некоторые математические проблемы, о которых она недавно размышляла, преследуют ее даже на досуге, как это было сейчас, когда она лежала на лугу и смотрела в небо. Однако, когда Казанова, ободренный ее приветливостью, шутливо осведомился, что же это за высокая и вдобавок столь навязчивая проблема, она с легкостью ответила ему, что эта проблема, во всяком случае, не имеет ничего общего с той знаменитой кабалой, в которой, по рассказам, весьма сведущ шевалье де Сенгаль, и поэтому ему едва ли удастся в ней разобраться. Казанову задело, что она отзывается о кабале с нескрываемым пренебрежением, и, вопреки собственному внутреннему убеждению, он попытался защитить перед Марколиной кабалу как полноценную и подлинную науку, хотя в часы откровенности с самим собой, правда редкие, и признавал, что своеобразная мистика чисел, именуемая кабалой, не имеет ни смысла, ни оправдания и ее вовсе нет в природе, она лишь используется мошенниками и шутами — а эту роль он играл попеременно, но всегда превосходно — как средство водить за нос легковверных и глупых людей. Он говорил о божественной природе числа семь, о чем даже упоминается в Священном писании, о глубокомысленно-пророческом значении числовых пирамид, которые он научился строить по новой системе, и о том, как часто сбывались его предсказания, основанные на этой системе. Разве он еще несколько лет тому назад, в Амсте-

рдаме, построив такую пирамиду чисел, не побудил банкира Гоце взять на себя страховку купеческого корабля, который уже считался погибшим, и разве тот не заработал на этом двести тысяч золотых гульденов? Он все еще так ловко умел излагать свои шарлатански-остроумные теории, что, как с ним часто случалось, и на этот раз начал верить сам во всю эту бессмыслицу и даже дерзнул заключить свою речь утверждением, что кабала представляет собой не столько одну из отраслей математики, сколько ее метафизическое завершение. Марколина, слушавшая его вначале очень внимательно и, по-видимому, вполне серьезно, вдруг бросила на него сострада-тельный и в то же время лукавый взгляд и сказала:

— Вам, по-видимому, захотелось, высоко-чтимый синьор Казанова (казалось, она умышленно не назвала его «шевалье»), показать мне изысканный образец вашего всемирно прославленного красноречия, за что я вам искренне благодарна. Но вы, конечно, знаете не хуже меня, что кабала не только не имеет ничего общего с математикой, но как раз грешит против подлинной сущности математики и по отношению к ней занимает такое положение, какое путаная или лживая болтовня софистов занимает по отношению к ясным и возвышенным учениям Платона и Аристотеля.

— Все же,— поспешно возразил Казанова,— вы должны будете со мною согласиться, прекрасная и ученая Марколина, что софистов отнюдь нельзя считать столь презренными глупцами, как можно было бы заключить из вашего не в меру сурового приговора. Так,—

приведем пример из современной жизни,— господина Вольтера, по всему его образу мыслей и способу их излагать, несомненно, можно назвать образцом софиста, и, несмотря на это, никому не придет в голову, даже мне, объявившему себя его решительным противником,— я не стану отрицать, что я именно теперь пишу против него памфлет,— даже мне не придет в голову отказать ему в исключительном даровании. Замечу кстати, что меня нисколько не подкупила подчеркнутая предупредительность, которую господин Вольтер любезно проявил ко мне во время моего визита в Ферне десять лет назад.

Марколина усмехнулась.

— Очень мило с вашей стороны, шевалье, что вы изволите так мягко судить о величайшем уме нашего века.

— О великом, даже величайшем? — воскликнул Казанова. — Называть его так мне кажется непозволительным уже потому, что, при всей своей гениальности, он безбожник, вернее, даже богоотступник. А богоотступник никак не может быть великим умом.

— На мой взгляд, шевалье, в этом нет никакого противоречия. Но вы прежде всего должны доказать, что Вольтера можно назвать богоотступником.

Тут Казанова очутился в своей стихии. В первой главе своего памфлета он привел множество выдержек из произведений Вольтера, главным образом из пресловутой «Девственницы», которые казались ему особенно вескими доказательствами неверия Вольтера; благодаря своей превосходной памяти, Казанова теперь цитировал их слово в слово наряду со своими

контраргументами. Но в лице Марколины он нашел противницу, мало уступавшую ему в знаниях и остроте ума и, кроме того, намного превосходившую его если не в велеречивости, то в подлинном искусстве и ясности речи. Места, которые Казанова пытался представить как доказательства иронии, скептицизма и безбожия Вольтера, Марколина умело и находчиво истолковывала как столь же многочисленные свидетельства научного и писательского гения этого француза, а также его неутомимого и пылкого стремления к правде и, не смущаясь, высказала мысль, что сомнения, ирония и даже неверие, если им сопутствуют столь обширные познания, столь безусловная честность и столь высокое мужество, должны быть более угодны богу, чем смирение верующих, за которым большей частью кроется не что иное, как неспособность логически мыслить и даже нередко — чему есть немало примеров — трусость и лицемерие.

Казанова слушал ее с возрастающим изумлением. Он видел свое бессилие переубедить Марколину и все яснее и яснее понимал, что душевным порывам, которые он чувствовал в последние годы и привык считать религиозностью, грозила опасность исчезнуть без следа, и потому поспешил воспользоваться общепринятым мнением, что высказанные Марколиной взгляды не только угрожают власти церкви, но и могут подорвать самые основы государства, и тут же ловко перескочил на область политики, где благодаря своему опыту и знакомству со светом скорее мог доказать Марколине свое несомненное превосходство.

Но если она и уступала ему в знании людей и понимании придворно-дипломатических интриг и не могла опровергнуть отдельных доводов Казанова даже тогда, когда была склонна не доверять его словам,— то из ее замечаний с неоспоримой ясностью вытекало, что она не питает особого почтения ни к земным владыкам, ни к существующим формам государственной власти и убеждена, что корыстолюбие и властолюбие и в малых и в великих делах не столько управляют миром, сколько вносят в него сумятицу. Казанове до сего времени редко приходилось наблюдать такое свободомыслие у женщины, а у девушки, которой не было еще и двадцати лет, он вообще никогда его не встречал; и он не без грусти вспомнил, что в минувшие дни, которые были лучше нынешних, его собственная мысль, с несколько самодовольной и сознательной смелостью, шла теми же путями, на которые, как он видел, вступила теперь Марколина, казалось, даже не сознавая своей смелости. И, увлеченный своеобычностью ее образа мыслей и их выражения, Казанова почти забыл, что идет рядом с молодым, прекрасным и пленительным созданием, и это было тем более удивительно, что он находился с нею совершенно один в тенистой аллее, довольно далеко от дома. И вдруг, прервав себя на полуслове, Марколина с живостью, как будто даже с радостью, воскликнула:

— А вот и дядя!..

И Казанова, словно желая наверстать упущенное, прошептал:

— Как жаль! С каким удовольствием я бы еще часами беседовал с вами, Марколина!

Он сам почувствовал, как при этих словах глаза его вновь загораются желанием, и Марколина, которая, несмотря на всю свою насмешливость, держала себя с ним почти доверчиво во время всего разговора, приняла замкнутый вид, и ее взгляд выразил прежнюю настороженность, даже прежнее отвращение, уже однажды так глубоко уязвившее Казанову сегодня.

«Неужели я и впрямь могу внушать такое отвращение? — со страхом спросил он себя. И тут же ответил: — Нет, дело не в этом; просто Марколина — не женщина. Она ученый, философ, пожалуй, даже чудо природы, только не женщина».

Однако при этом он знал, что лишь старается сам себя обмануть, утешить, спасти и что все его старания напрасны.

Перед ними стоял Оливо.

— Ну, разве это не была счастливая мысль, — обратился он к Марколине, — пригласить наконец к нам в дом гостя, с которым можно поговорить о таких высоких предметах, к каким тебя, вероятно, приохотили твои болонские профессора?

— Вряд ли даже среди них, дорогой дядя, найдется хоть один, — отвечала Марколина, — который бы осмелился вызвать на поединок самого Вольтера!

— Вот как, Вольтера? А шевалье вызвал его? — воскликнул Оливо, не поняв.

— Ваша остроумная племянница, Оливо, имеет в виду памфлет, которым я занят в последнее время. Так, любительский опыт в часы досуга. Прежде меня поглощали более важные дела.

Пропустив мимо ушей это замечание, Марколина сказала:

— Стало прохладно, и вам будет приятно прогуляться. До свидания!

Она слегка кивнула им и побежала по лужайке к дому.

Казанова удержался и не посмотрел ей вслед; он спросил:

— Синьора Амалия пойдет с нами?

— Нет, милейший шевалье, у нее много всяких дел по дому, и в этот час она обычно дает урок девочкам.

— Какая хорошая хозяйка и добрая мать! Вам можно позавидовать, Оливо!

— Да, я и сам каждый день себе это повторяю,— ответил Оливо, и на глазах у него показались слезы.

Они пошли вдоль торцовой стены дома. Окно Марколины было по-прежнему открыто. В глубине комнаты, погруженной в полумрак, белело легкое, как вуаль, платье. Они вышли по широкой каштановой аллее на дорогу, которая уже совсем погрузилась в тень, и стали медленно подниматься в гору вдоль садовой ограды. Там, где она поворачивала под прямым углом, начинались виноградники. Между высокими лозами, на которых висели тяжелые гроздья черно-синих ягод, Оливо повел своего гостя к вершине холма и с видом глубокого удовлетворения указал на свой дом, лежавший теперь довольно глубоко внизу. Казанове померещилось, будто в окне башни то мелькает, то вновь исчезает силуэт женщины.

Солнце клонилось к закату, но было еще очень жарко. По щекам Оливо градом катился пот, а у Казановы лоб оставался совершенно

сухим. Постепенно удаляясь, они стали теперь спускаться и вышли на тучное поле. От одного оливкового дерева к другому тянулись виноградные лозы, между рядами деревьев покачивались высокие желтые колосья.

— Дары солнца в тысячеликом образе,— проникновенно произнес Казанова.

Оливо с еще большими подробностями, чем прежде, принялся рассказывать о том, как мало-помалу ему удалось приобрести это прекрасное имение и как обильный урожай плодов и злаков в течение нескольких лет сделал его зажиточным, даже богатым человеком. Но Казанова был занят своими мыслями и, лишь изредка подхватывая слово, сказанное Оливо, вставлял какой-нибудь вежливый вопрос, чтобы доказать ему свое внимание. Только когда Оливо, болтая о всевозможных вещах, заговорил о своей семье и, наконец, о МаркоLINE, Казанова насторожился. Но он узнал немногим более того, что было ему уже известно. Еще ребенком, живя в доме отца, врача в Болонье, который приходился Оливо сводным братом и рано овдовел, она изумляла родных своими способностями, пробудившимися в самом юном возрасте, поэтому все давно привыкли к ее необычным наклонностям. Несколько лет назад умер ее отец, и с тех пор она живет в семье известного профессора Болонского университета, того самого Морганьи, который возымел дерзкое намерение сделать из своей ученицы крупного ученого. Летом она всегда гостит у дяди. Она отказала нескольким претендентам на ее руку — болонскому купцу, живущему по соседству землевладельцу, а совсем

недавно — лейтенанту Лоренци и, по-видимому, действительно хочет посвятить себя только служению науке. Пока Оливо рассказывал обо всем этом, Казанова чувствовал, как безмерно растет в нем желание, и, сознавая, насколько оно безнадежно и безрассудно, был близок к отчаянию.

Едва они вышли с поля на проезжую дорогу, как из катящегося им навстречу облака пыли раздались приветственные возгласы. Показалась карета, где сидели хорошо одетый пожилой господин с более молодой пышной и накрашенной дамой.

— Маркиз, — шепнул Оливо своему спутнику. — Он едет ко мне.

Карета остановилась.

— Добрый вечер, дорогой Оливо! — воскликнул маркиз, — Не познакомите ли вы меня с дшсвалье де Сенталь? Не сомневаюсь, что имею удовольствие видеть его перед собой.

Казанова слегка поклонился:

— Да, это я.

— А я — маркиз Чельси, а это — маркиза, моя супруга.

Дама протянула Казанове кончики пальцев; он прикоснулся к ним губами.

— Нам с вами по пути, дражайший Оливо, мы направляемся к вам, — сказал маркиз; его колючие зеленоватые глаза под густыми сросшимися рыжими бровями придавали всему его желтому, как воск, узкому лицу не очень приветливое выражение. — Отсюда каких-нибудь четверть часа ходьбы до вашего дома; поэтому я выйду из кареты и пройду с вами пешком. Надеюсь, дорогая, ты согласишься проехать

это небольшое расстояние одна? — обратился он к маркизе, все время не сводившей жадных глаз с Казановы; не дожидаясь ответа супруги, он махнул рукой кучеру, и тот сразу, как бешеный, стегнул лошадей, точно по какой-то неведомой причине хотел возможно быстрее увезти отсюда свою госпожу; карета тотчас же исчезла в облаке пыли.

— В наших местах уже распространилась весть, — сказал маркиз, бывший еще выше ростом, чем Казанова, и отличавшийся неестественной худобой, — что сюда прибыл шевадье де Сенгаль и остановился у своего друга Оливо. Должно быть, отрадно чувствовать, что носишь такое прославленное имя.

— Вы очень любезны, синьор маркиз, — ответил Казанова. — Во всяком случае, я еще не отказался от надежды приобрести такое имя, но покамест очень далек от этого. Труд, предпринятый мною как раз теперь, надеюсь, несколько приблизит меня к этой цели.

— Здесь можно сократить путь, — заметил Оливо и свернул на тропинку, которая шла по полю прямо к садовой ограде.

— Труд? — повторил маркиз несколько недоуменно. — Позвольте спросить, какого рода труд вы имеете в виду, шевадье?

— Уж если вы меня об этом спрашиваете, синьор маркиз, то я, со своей стороны, принужден обратиться к вам с вопросом: о какого рода славе вы сейчас говорили?

При этом Казанова высокомерно посмотрел в колючие глаза маркиза. Ибо, хотя он хорошо знал, что ни его фантастический роман «Икосамерон», ни его трехтомное «Опровержение истории венецианского правительства, написанной

Амелотом» не принесли ему большой литературной славы, ему во что бы то ни стало хотелось показать, что ни к какой другой славе он не стремится, и он делал вид, будто не понимает никаких осторожно-пытливых замечаний и намеков маркиза, который, видимо, мог представить себе Казанову лишь знаменитым соблазнителем женщин, игроком, дельцом, политическим эмиссаром — кем угодно, только не писателем, тем более что ему никогда не приходилось слышать ни об «Опровержении сочинения Амелота», ни об «Икосамероне». Поэтому маркиз, слегка сбитый с толку, в конце концов вежливо заметил с некоторым смущением:

— Во всяком случае, есть только один Казанова.

— Вы опять-таки в заблуждении, синьор маркиз,— холодно возразил Казанова.— Я не единственный сын в семье, и имя одного из моих братьев — художника Франческо Казановы — не пустой звук для знатока.

Обнаружилось, что и в этой области маркиз не принадлежал к числу знатоков, и он перевел разговор на своих знакомых в Неаполе, Риме, Милане и Мантуе, с которыми, как он предполагал, Казанове приходилось встречаться. Среди них он назвал,— правда, с оттенком пренебрежения,— также имя барона Перотти, и Казанове пришлось признать, что в доме барона он иногда играл в карты — для развлечения, прибавил он, полчаса перед отходом ко сну. «Но от такого рода времяпрепровождения я, можно сказать, уже почти отказался».

— Весьма сожалею,— ответил маркиз,— ибо не стану от вас скрывать, шевалье, что

мечтой моей жизни было помериться силами с вами — и в игре, и — в более молодые годы — на ином поприще. Подумайте только, я прибыл в Спа — сколько могло пройти лет с тех пор? — в тот самый день, даже в тот же час, когда вы оттуда отбыли. Наши кареты, встретившись, проехали одна мимо другой. Такая же неудача постигла меня и в Регенсбурге. Там я даже поселился в комнате, которую вы оставили часом раньше.

— Действительно несчастье, — сказал Казанова, все же немного польщенный, — что в жизни иногда слишком поздно встречаешь друг друга.

— Еще не поздно, — с живостью откликнулся маркиз. — Кое в чем я заранее готов признать себя побежденным, и это меня мало трогает, но что касается карт, милейший шевалье, то, пожалуй, мы оба достигли именно подходящего возраста.

— Возраста — возможно, — перебил его Казанова. — Но, к сожалению, как раз в этой области я не могу больше притязать на удовольствие сразиться с таким достойным партнером; ибо я, — сказал он тоном низложенного государя, — ибо я, высокочтимый маркиз, несмотря на всю мою славу, как был, так и остался нищим.

Под гордым взглядом Казановы маркиз невольно опустил глаза и только недоверчиво покачал головой, словно услышав странную шутку. Оливо же, который с напряженным вниманием прислушивался ко всему разговору и сопровождал одобрительными кивками находчивые ответы своего выдающегося друга, с трудом удержался от жеста ужаса. Все они

стояли уже у задней стены сада, перед узкой деревянной калиткой, и Оливо, открыв ее заскрежетавшим в замке ключом и пропустив маркиза вперед, прошептал Казанове, схватив его за руку:

— Шевалье, последние свои слова вы возьмете обратно, прежде чем переступите порог моего дома. Деньги, которые я должен вам уже шестнадцать лет, ждут вас. Я только не осмеливался... Спросите Амалию... Они приготовлены и ждут вас. Я хотел, расставаясь с вами, взять на себя смелость...

— Ничего вы мне не должны, Оливо, — мягко прервал его Казанова. — Несколько золотых — вы же прекрасно знаете — были свадебным подарком, который, будучи другом матери Амалии... Впрочем, к чему вообще говорить об этом? Что значат для меня эти несколько дукатов? В моей судьбе вскоре произойдут большие перемены, — прибавил он нарочито громко, чтобы его мог услышать маркиз, остановившийся в нескольких шагах от них.

Оливо обменялся взглядом с Казановой, как бы желая удостовериться в его согласии, после чего заметил маркизу:

— Дело в том, что шевалье отзывают в Венецию, и он через несколько дней уезжает в родной город.

— Вернее, — вставил Казанова, когда они уже приближались к дому, — меня зовут уже давно и все более настойчиво. Но я нахожу, что господа сенаторы не слишком торопились. Пусть же теперь запасутся терпением.

— Вы имеете полное право проявлять такую гордость, шевалье! — сказал маркиз.

Когда аллеи кончились и они вышли на лужайку, где теперь лежала уже глубокая тень, они увидели перед домом ожидавшее их маленькое общество. Все встали и пошли им навстречу: впереди аббат между Марколиной и Амалией; за ними следовала маркиза рядом с рослым безбородым молодым офицером в красном мундире с серебряными шнурами и в блестящих ботфортах,—это мог быть только Лоренци. По тому, как он разговаривал с маркизой, скользя взглядом по ее белым напудренным плечам, точно по хорошо знакомому залогу других ее прелестей, тоже ему знакомых; а главное, по тому, как маркиза, прищурившись и улыбаясь, смотрела на него,—даже у менее опытного человека, чем Казанова, не могло остаться сомнений в характере отношений между ними, а также в том, что они вовсе не стремятся от кого-либо их скрыть. Они прервали свой тихий, но оживленный разговор, только оказавшись лицом к лицу со вновь пришедшими.

Оливо представил друг другу Лоренци и Казанову. Они измерили один другого коротким холодным взглядом, как бы удостоверясь в своей взаимной неприязни, затем, слегка улыбнувшись, поклонились без рукопожатия, ибо для этого каждый из них должен был бы сделать шаг к другому. Лоренци был красив, черты его удлинённого лица были для такого молодого человека необычайно резкими. В глубине его глаз мерцало что-то неуловимое, что заставляло людей искушенных был настороже. Казанова всего лишь секунду раздумывал, кого напоминает ему Лоренци.

Он тут же понял — перед ним его собственный портрет, каким он был тридцать лет назад. «Неужели я снова ожил в его образе? — спросил он себя. — Но ведь тогда я должен был прежде умереть...» И он содрогнулся: «Да разве я не умер давно? Что осталось во мне от когда-то молодого, ослепительного и счастливого Казановы?»

Он услышал голос Амалии. Она спрашивала его, словно издали, хотя и стояла рядом, была ли приятна ему прогулка, и он громко, чтобы все слышали, стал расхваливать плодородные и прекрасно обработанные земли, которые он обошел вместе с Оливо. Тем временем служанка накрывала на лужайке длинный стол, ей помогали две старшие дочери Оливо, которые, смеясь и суетясь, приносили из дому посуду, стаканы и все прочее. Постепенно спустились сумерки; тихий освежающий ветерок повеял над садом. Марколина поспешила к столу, чтобы завершить работу, начатую детьми вместе со служанкой, и исправить их упущения. Остальные гости непринужденно прогуливались по лужайке и аллеям. Маркиза удостоила Казанову самого любезного внимания и пожелала, между прочим, услышать от него знаменитую историю его побега из венецианских свинцовых казематов, хотя, прибавила она с многозначительной улыбкой, ей отнюдь небезызвестно, что он испытал гораздо более опасные приключения, о которых, конечно, несколько рискованно рассказывать. Казанова возразил: хотя ему и пришлось пройти всякого рода испытания — серьезные и более забавные, все же ему так и не довелось узнать ту жизнь,

весь смысл и подлинную сущность которой составляет опасность; правда, в тревожные времена, много лет назад, он был несколько месяцев солдатом на острове Корфу,— да есть ли на земле занятие, к которому его не принуждала судьба?!— но на его долю ни разу не выпало счастье участвовать в настоящем походе, какой предстоит теперь синьору лейтенанту Лоренци и в чем он готов почти завидовать ему.

— В таком случае, вам известно больше, чем мне, синьор Казанова,— громко и дерзко произнес Лоренци,— и даже больше, чем моему полковнику, ибо я только что получил разрешение продлить свой отпуск на неопределенное время.

— В самом деле?— воскликнул маркиз, не сдержав своей злобы, и язвительно добавил:— Вообразите только, Лоренци, мы... вернее, моя супруга была так уверена в вашем отъезде, что с начала будущей недели пригласила к нам в замок одного из наших друзей— певца Бальди.

— Вот и прекрасно,— ответил Лоренци, несколько не смутясь.— Мы— добрые друзья и поладим друг с другом. Не правда ли?— обратился он к маркизе и усмехнулся.

— Я бы посоветовала это вам обоим,— заметила маркиза, весело улыбнувшись, и первая села за стол.

Место по одну сторону от нее занял Оливо, по другую— Лоренци. Амалия села напротив, между маркизом и Казановой; подле него— в конце стола— Марколина, а против нее— аббат, по соседству с Оливо. Ужин, как и обед, был простой, но необыкновенно вкусный. Две

старшие дочери хозяев дома, Терезина и Нанетта, подавали блюда и разливали превосходное вино, изготовленное из винограда с холмов Оливо. Маркиз и аббат благодарили девочек, позволяя себе шутливые, но довольно грубые ласки, которые отцу, более строгому, чем Оливо, быть может, пришлось бы не по нраву. Амалия, казалось, ничего не замечала; она была бледна, смотрела печально и всем своим видом изображала женщину, решившую состариться, ибо сохранять молодость утратило для нее всякий смысл. «Неужели только на нее простирается моя власть?» — с горечью подумал Казанова, искоса глядя на Амалию. Но, может быть, ее лицу придавало такую печаль освещение? Свечей не зажигали, довольствуясь отблеском заката, и только из дома падала на гостей широкая полоса света. Верхушки деревьев, сливаясь в сплошную темную массу с резко очерченными краями, закрывали все вокруг, и Казанова вспомнил другой таинственный сад, где он много лет назад ждал в ночной час возлюбленную.

— Мурано, — с трепетом прошептал он, затем вслух проговорил: — Есть сад на острове близ Венеции, монастырский сад, который в последний раз много, много лет назад я посетил, ночью там все так же благоухало, как сегодня здесь.

— Разве вы были когда-нибудь монахом? — шутливо спросила маркиза.

— Почти что, — ответил, улыбаясь, Казанова и рассказал правдивую историю о том, как он, будучи еще пятнадцатилетним мальчиком, был принят в послушники венецианским патриархом, но уже юношей предпочел

снять одежду священника. Аббат упомянул о находящемся поблизости женском монастыре, усиленно советуя Казанове посетить его, если он там еще не бывал. Оливо пылко поддержал аббата; он превозносил красоту мрачного старинного здания и местности, где оно расположено, а также ведущей туда живописной дороги.

— Кроме того,— продолжал аббат,— настоятельница, сестра Серафима, весьма ученая женщина, герцогиня по рождению, выразила в письме ко мне (в письме, потому что в этом монастыре соблюдается обет вечного молчания) желание встретиться с Марколиной, о чьей учености до нее дошли слухи.

— Надеюсь, Марколина,— заговорил Лоренци, впервые обратившись прямо к ней,— вы не дадите уговорить себя и не станете во всем ревностно следовать примеру герцогини-настоятельницы.

— К чему мне это? — весело возразила Марколина.— Сохранить свободу можно, и не давая обета, и притом гораздо лучше, так как обет есть принуждение.

Казанова сидел подле нее. Он даже не смел потихоньку коснуться ногой ее ноги или прижаться коленом к ее колену; если бы он еще в третий раз увидел выражение ужаса и отвращения в ее взоре, а он не сомневался, что увидел бы, то это неминуемо толкнуло бы его на какой-нибудь безумный поступок. Между тем ужин продолжался, росло число осушенных бокалов, разговор становился все более оживленным и общим, и Казанова снова будто издалека услышал голос Амалии:

— Я говорила с Марколиной.

— Ты ей...— Безумная надежда вспыхнула в его душе.

— Тише, Казанова! Речь шла не о тебе, а только о ней и об ее планах на будущее. И я повторяю тебе еще раз: никогда не будет она принадлежать ни одному мужчине.

Тут Оливо, уже изрядно нагрузившийся, неожиданно встал и, со стаканом в руке, запинаясь, сказал несколько слов о высокой чести, оказанной его бедному дому посещением дорогого друга шевадье де Сенгаль.

— А где шевадье де Сенгаль, о котором вы говорите, дорогой Оливо?— спросил Лоренци своим звонким и дерзким голосом.

Первым желанием Казановы было швырнуть свой полный стакан в лицо наглецу, но Амалия слегка прикоснулась к его руке и сказала:

— Многим людям вы и поныне известны, шевадье, только под своим прежним и более прославленным именем Казановы.

— Я не знал,— с оскорбительной серьезностью сказал Лоренци,— что французский король пожаловал синьору Казанове дворянство.

— Я не стал утруждать этим короля,— спокойно ответил Казанова.— Надеюсь, лейтенант Лоренци, вы удовлетворитесь объяснением, против которого не нашлось никаких возражений у нюрнбергского бургомистра, когда я имел честь привести его в связи с одним, впрочем, незначительным случаем.

Все молчали, с напряженным вниманием слушая его.

— Алфавит,— сказал он,— как известно, достояние всеобщее. Так вот, я выбрал несколько

букв по своему желанию и возвел себя в дворянство, не будучи обязан этим никакому государю, который едва ли мог бы оценить по достоинству мои притязания. Я — Казанова, шева-лье де Сенгаль. Очень сожалею, лейтенант Лоренци, если это имя вам не нравится.

— Сенгаль — превосходное имя, — сказал аббат и повторил его несколько раз, будто пробуя на вкус.

— И никто в целом свете, — воскликнул Оливо, — не имеет большего права именовать-ся шева-лье, чем благородный друг мой Казанова!

— А когда ваша слава, Лоренци, — прибавил маркиз, — прогремит так же далеко, как слава синьора Казановы, шева-лье де Сенгаль, мы, если вы пожелаете, не замедлим назвать и вас шева-лье.

Казанова, обозленный непрошеной поддержкой, оказанной ему со всех сторон, только собирался ее отклонить, чтобы самому постоять за себя, как из темной глубины сада появились двое пожилых, довольно прилично одетых мужчин и подошли к столу. Оливо приветливо и шумно поздоровался с ними, очень обрадовавшись возможности прекратить раз-молвку, которая грозила стать опасной и испортить все веселье этого вечера. Вновь прибывшие — холостяки братья Рикарди, как Казанова узнал от Оливо, — повидали свет, но им не везло с различными предприятиями, которые они затевали, и они в конце концов вернулись в родные места и поселились в соседней деревне, в снятом там жалком домике. Чудаковатые, но безобидные люди. Оба Рикарди уже выразили восхищение представившимся им

случаем возобновить знакомство с шевалье, с которым они много лет назад встречались в Париже. Казанова этого не помнил. А может быть, это было в Мадриде?..

— Возможно,— сказал Казанова, хотя и знал, что никогда не видел ни одного из них. В разговоре участвовал только один из братьев, по-видимому, младший; другой, на вид девяностолетний старик, слушая брата, беспрестанно кивал головой и растерянно улыбался.

Все встали из-за стола. Дети удалились еще раньше. Лоренци с маркизой прогуливались по темной лужайке, Марколина и Амалия появились вскоре в зале, где они, по-видимому, были заняты приготовлениями к игре в карты.

«Что бы все это могло значить?— спросил себя Казанова, очутившись один в саду.— Неужели они считают меня богатым? И собираются меня обобрать?» Все эти приготовления, а также предупредительность маркиза, обходительность аббата и даже появление братьев Рикарди показались ему несколько подозрительными; не замешан ли в интригу и Лоренци? Или Марколина? Или даже Амалия? «Неужели все это,— мелькнула у него мысль,— происки моих врагов, которые в последнюю минуту стараются помешать моему возвращению в Венецию?» Но он тут же спохватился, что это совершенно нелепое предположение— прежде всего потому, что у него ведь больше не было даже врагов. Он был неопасным, опустившимся старым горемыкой. Кого могло вообще тревожить его возвращение в Венецию? И когда он увидел через открытые окна, как мужчины деловито усаживаются за стол, на котором уже лежали карты и сто-

яли наполненные вином бокалы, все его сомнения рассеялись: ясно, что здесь затевается лишь обычная безобидная игра, в которой новый партнер всегда является желанным. Мимо него проскользнула Марколина и пожелала ему счастья.

— Вы не останетесь? Посмотрели бы на игру?

— К чему мне это? Спокойной ночи, шевалье де Сенгаль, до завтра!

В сад донеслись из комнаты голоса:

— Лоренци! Шевалье! Мы вас ждем!

Скрытый тенью дома, Казанова видел, как маркиза увлекла Лоренци с лужайки под деревья во мрак. Там она крепко прижалась к нему, но Лоренци резко вырвался и поспешил к дому. В дверях он столкнулся с Казановой и с насмешливой учтивостью пропустил его вперед; Казанова прошел мимо него, не поблагодарив.

Первый банк держал маркиз. Оливо, братья Рикарди и аббат делали такие ничтожные ставки, что вся игра — даже теперь, когда все состояние Казановы равнялось нескольким дукатам, — произвела на него впечатление пустой забавы. Она казалась ему особенно смешной потому, что маркиз с таким важным видом принимал и выплачивал деньги, точно это были огромные суммы. Вдруг Лоренци, до сих пор не игравший, бросил на стол дукат, выиграл, удвоил ставку, опять выиграл, потом в третий раз и с небольшими перерывами продолжал выигрывать. Остальные игроки ставили по-прежнему мелкие монеты, а братья Рикарди особенно возмущались, когда им казалось, что маркиз относится к ним не так

почтительно, как к лейтенанту Лоренци. У старшего, державшего карты, выступили на лбу капельки пота, младший стоял у него за спиной, беспрестанно что-то ему говорил, словно давал важные и непогрешимые советы. Когда он видел, что его молчаливый брат выигрывает, глаза его загорались, когда же происходило обратное, он в отчаянии устремлял их к небу. Аббат, вообще довольно безучастный, время от времени изрекал фразы, звучащие как поговорки, вроде: «Удачу и женщин не приневолишь!» или «Земля кругла, а небо необъятно». Изредка он бросал лукавые и ободряющие взгляды на Казанову и тут же переводил глаза на Амалию, сидевшую возле мужа, против Казановы, словно хотел вновь соединить прежних любовников. Но Казанова думал только о том, что Марколина теперь медленно раздевается в своей комнате и, если окно открыто, в ночной темноте светится ее белоснежное тело. Теряя голову от охватившего его желания, он хотел подняться со своего места — рядом с маркизом — и выйти из комнаты, но маркиз заключил по его движению, что он решил принять участие в игре, и сказал:

— Наконец-то! Мы ведь знали, что вы не останетесь безучастным зрителем, шевалье.

Он протянул Казанове карту. Тот поставил на нее все, что имел при себе — почти все, что он имел вообще, — около десяти дукатов, которые он, не пересчитав, высыпал из кошелька на стол, желая проиграть их разом: это должно было послужить предзнаменованием, счастливым предзнаменованием — он и сам хорошо не знал чего, скорого ль возвращения в Венецию

или ожидавшей его возможности увидеть раздетую Марколину, но не успел он еще решить чего, как маркиз уже проиграл ему. Казанова, как и Лоренци, удвоил ставку, и ему, как и лейтенанту, счастье не изменило. Маркиз не обращал больше никакого внимания на остальных игроков. Молчаливый Рикарди встал из-за стола, оскорбленный, брат его ломал руки; потом из-за стола они, оба расстроенные, удалились в угол залы. Аббат и Оливо легче примирились с таким ходом игры: первый ел сладости и повторял свои присказки, второй с волнением следил за тем, как ложатся карты. Наконец, маркиз проиграл пятьсот дукатов, которые поделили между собой Казанова и Лоренци. Маркиза встала и, выходя из комнаты, подала лейтенанту знак глазами, Амалия ее сопровождала. Маркиза покачивала бедрами, и это внушало Казанове отвращение; Амалия плелась рядом, как жалкая пожилая женщина. Маркиз проиграл все наличные деньги, и потому банк перешел к Казанове, который, к неудовольствию маркиза, настоял на том, чтобы в игре опять приняли участие все присутствующие. Алчные и возбужденные братья Рикарди тотчас же заняли свои места; аббат покачал головой—с него довольно, а Оливо присоединился к игре только из желания угодить своему знатному гостю. Счастье и дальше не оставляло Лоренци; и выиграв, в общем, четыреста дукатов, он встал со словами:

— Завтра я охотно дам вам возможность отыгаться. А теперь позвольте мне уехать домой.

— Домой! — язвительно засмеявшись, воскликнул маркиз, впрочем, уже отыгравший несколько дукатов. — Это недурно! Ведь лейтенант живет у меня! — обратился он к присутствующим. — И моя супруга укатила первая. Приятного развлечения, Лоренци!

— Вам превосходно известно, — возразил Лоренци, не моргнув глазом, — что я отправлюсь верхом прямо в Мантую, а не к вам в замок, где вы столь любезно меня вчера приютили.

— Отправляйтесь, куда хотите, хотя бы к дьяволу!

Лоренци учтивейшим образом простился со всеми и вышел, не дав маркизу надлежащего ответа, что крайне удивило Казанову. Он продолжал метать карты, выиграл, и вскоре оказалось, что маркиз задолжал ему несколько сот дукатов. «К чему все это?» спрашивал себя вначале Казанова. Но постепенно игра его захватила. — Дело идет недурно, — подумал он, — скоро будет тысяча... может быть, даже две. Маркиз уплатит свой долг. Было бы совсем неплохо прибыть в Венецию с небольшим состоянием. Но почему в Венецию? Снова разбогатеть, снова помолодеть. Богатство — это все. По крайней мере, тогда я смогу покупать их. Кого? Другой я не хочу... Обнаженная стоит она у окна, можно не сомневаться... все-таки... предчувствует, что я приду... Стоит у окна, чтобы свести меня с ума. И вот я у нее».

Тем временем он с непроницаемым лицом продолжал сдавать карты не только маркизу, но и Оливо и братьям Рикарди, которым порой подсовывал золотой, по праву им не принадлежавший. Они не протестовали. В ночной

тишине раздались какие-то звуки, словно конский топот по дороге. «Лоренци»,— подумал Казанова. Вот топот послышался снова, точно эхо, отраженное стеною сада, затем все звуки и отзвуки постепенно смолкли. Но теперь счастье отвернулось от Казановы. Маркиз все увеличивал ставки, и к полуночи Казанова оказался так же беден, как прежде, даже беднее, ибо он проиграл и те несколько золотых монет, что у него были до начала игры. Отодвинув карты, он поднялся, улыбаясь:

— Благодарю вас, господа!

Оливо простер к нему руки:

— Друг мой, будемте продолжать игру... Сто пятьдесят дукатов, разве вы о них забыли... Нет, что там сто пятьдесят! Все, что я имею, и я сам, все, все! — у него заплетался язык, так как он, не переставая, пил весь вечер. Казанова остановил его подчеркнутым величественным движением.

— Удачу и женщин не приневолишь! — проговорил он с поклоном в сторону аббата. Тот с довольным видом кивнул головой и захлопал в ладоши.

— Итак, до завтра, высокочтимый шева-лье,— сказал маркиз.— Общими усилиями мы с вами отнимем деньги у лейтенанта Лоренци.

Братья Рикарди настояли на продолжении игры. Маркиз, придя в веселое настроение, начал метать банк. Они поставили золотые, которые Казанова дал им выиграть. Маркиз забрал их за две минуты и наотрез отказался продолжать игру, если братья не предъявят наличных денег. Старший расплакался как ребенок. Младший, желая его успокоить, стал его целовать. Маркиз спросил, вернулась ли

уже его карета. Аббат покачал головой и ответил утвердительно, он слышал, как она проехала с полчаса назад. Маркиз пригласил аббата и братьев Рикарди в свою карету, чтобы отвезти их домой, и все вышли из дома.

После отъезда гостей Оливо взял Казанову под руку и со слезами в голосе стал его опять уверять, что все в этом доме принадлежит ему, Казанове, пусть он всем распоряжается по своему желанию. Они прошли мимо окна Марколины. Оно было не только закрыто, но и задвинуто решеткой и завешено изнутри. «Были времена, — подумал Казанова, — когда все это не помогало или совершенно ничего не значило». Они вошли в дом. Оливо настоял на том, чтобы проводить гостя по довольно скрипучей лестнице в его комнату в башне, где на прощанье обнял его.

— Итак, завтра вы увидите монастырь, — сказал он. — Спите спокойно, мы тронемся в путь не слишком рано и, во всяком случае, будем стараться, чтобы вам было удобнее. Спокойной ночи! — Он вышел, тихо притворив за собою дверь, но скрип его шагов по лестнице раздался по всему дому.

Казанова остался один в своей комнате, тускло освещенной двумя свечами, взгляд его блуждал от одного из четырех окон, выходящих на все стороны света, к другому. Вокруг раскинулся залитый голубоватым светом пейзаж; повсюду открывался почти один и тот же вид: широкие равнины с невысокими холмами, только на севере расплывчатые очертания гор, разбросанные тут и там дома, усадьбы и более обширные строения; в одном из них, расположенном на некотором возвышении, — как пред-

полагал Казанова, замке маркиза — мерцал огонек. В комнате, посреди которой стояла отодвинутая от стены широкая кровать, был еще только длинный стол с двумя зажженными свечами, несколько стульев и комод с висевшим над ним зеркалом в золотой раме; чьи-то заботливые руки привели там все в порядок и разложили по местам вещи, вынутые из чемодана Казановы. На столе лежала запертая на замок, потрепанная кожаная сумка с его бумагами и несколько книг, нужных ему для работы и поэтому взятых с собой; тут же был приготовлен письменный прибор. Спать Казанове совсем не хотелось, он вынул из сумки свою рукопись и при мерцающих свечах прочел то, что написал в последний раз. Поскольку он прервал фразу на середине, теперь ему было нетрудно продолжить начатую мысль. Взяв перо, он торопливо написал несколько строк и вдруг опять остановился. «К чему? — задал он себе вопрос, как бы внутренне прозрев и ужаснувшись. — Даже если б я знал, что все написанное мною прежде и все, что я еще напишу, прекрасно и несравненно, даже если бы мне действительно удалось уничтожить Вольтера и затмить своей славой его славу, — разве, несмотря на все это, я не согласился бы с радостью сжечь все свои рукописи, если бы мне было суждено сейчас, в этот миг, держать в объятиях Марколину? Да разве ради такой награды я не согласился бы дать обет никогда не возвращаться в Венецию, даже если бы они встретили меня там как триумфатора? Венеция!..» Он повторил это слово, и оно прозвучало для него во всем своем величии и сразу обрело над ним прежнюю власть. Город его

юности, овеянный очарованием воспоминаний, предстал перед ним, и сердце его преисполнилось такой щемящей и беспредельной тоской, какой он поистине не испытывал еще никогда. Отказаться от возвращения в Венецию — представилось Казанове самой невыносимой из всех жертв, которых еще могла бы потребовать от него судьба. Что делать ему в этом жалком, померкшем мире без надежды, без уверенности, что он вновь увидит любимый город? После долгих лет, даже десятилетий скитаний и приключений, после всех пережитых им удач и неудач, после всех почестей и позора, после триумфов и унижений, испытанных им, должен же он наконец обрести место отдохновения, родину. А может ли быть у него другая родина, кроме Венеции? И иное счастье, кроме сознания, что у него вновь есть родина? На чужбине ему давно уже не удастся надолго подчинить себе счастье. Порою у него еще хватало сил уцепиться за него, но не было сил удержать. Его власть над людьми — над женщинами и мужчинами — кончилась. Лишь тех, для кого он воплощает прошлое, еще очаровывают его слово, его взгляд, его голос. Настоящее не принесет ему ничего. Прошло его время! И он сознался себе в том, что до сих пор всемерно пытался скрывать от себя: его литературным творениям, даже его памфлету против Вольтера, на который он возлагал последнюю надежду, никогда не дожидаться широкого признания. И для этого уже слишком поздно. Да, если бы в молодые годы у него хватило досуга и терпения серьезнее заняться подобными работами, то — он был твердо уверен в этом — он не уступал бы те-

перь лучшим из тех, кто избрал подобное поприще — писателям и философам; как финансист или дипломат он тоже мог бы достигнуть самого высокого положения, если бы проявлял больше упорства и осторожности, чем ему было свойственно. Но куда исчезали все его терпение и вся его осторожность, куда улетучивались все его житейские планы, когда его манило новое любовное приключение? Женщины... Женщины всюду! Ради них он в любую минуту бросал все; ради знатных и простых, ради страстных и холодных, ради невинных девушек и беспутных девок; одна ночь на новом ложе любви всегда казалась ему дороже всех земных почестей и всего загробного блаженства. Но сожалел ли он теперь о том, что упустил в жизни ради этой вечной погони за тем, чего не было нигде и что находилось везде; ради этого земного и неземного метания от желания к наслаждению и от наслаждения к желанию? Нет, он не сожалел ни о чем. Он прожил свою жизнь, как никто, да и теперь разве он не живет, как хочет? На своем пути он еще всюду находит женщин, даже если они и не безумствуют от любви к нему, как когда-то Амалия. Он может обладать ею, когда пожелает, хоть сейчас, в постели ее пьяного супруга. А хозяйка в Мантуе? Разве она не влюблена в него, как в прекрасного юношу, нежно и ревниво? А вся в оспинах, но стройная возлюбленная Перотти? Зачарованная именем Казановы, от которого, казалось, на нее веяло сладострастьем тысячи ночей, разве она не молила его подарить ей хоть одну ночь, а он отверг ее с презрением, как человек, который может еще выбирать женщин по своему вкусу?

Разумеется, Марколина... такие, как Марколина, теперь уже не для него. А может быть, она и раньше была бы ему недоступна? Наверное, бывали и такие женщины. Он, пожалуй, даже встретил одну и былые годы; но к его услугам тут же оказалась другая, более податливая, и он не стал попусту терять время и понапрасну вздыхать хотя бы один день. Если уж Лоренци не удалось победить Марколину,—она отвергла руку даже этого человека, столь же красивого и дерзкого, каким в молодости был он сам, Казанова,—то, пожалуй, Марколина и впрямь есть то самое чудо, в существовании которого на земле он доселе сомневался,—добродетельная женщина. Но тут Казанова громко расхохотался на всю комнату. «Увалень, дуралей! — сказал он вслух, разговаривая по своей привычке сам с собой. — Он просто не сумел воспользоваться случаем. А может быть, его держит в плену маркиза? Или он стал ее любовником лишь после того, как не сумел овладеть Марколиной, ученой, философкой?!» И вдруг Казанову осенила мысль: «Я прочитаю ей завтра свой памфлет против Вольтера! Она здесь — единственный человек, у которого хватит для этого ума. Мне удастся ее убедить... Она будет мною восхищаться. Разумеется, будет... «Замечательно, синьор Казанова! У вас блестящий стиль, престарелый синьор! Клянусь богом... Вы уничтожили Вольтера... Гениальный старик!» Так глухо бормотал и шипел Казанова, бегая взад и вперед по комнате, как в клетке. Его душила бешеная злоба против Марколины, против Вольтера, против самого себя, против всего света. Он еле сдерживался,

чтобы не зарычать, как зверь. Наконец он, не раздеваясь, бросился на кровать и широко открытыми глазами стал смотреть на балки потолка, среди которых в отблеске свечей там и сям серебрилась паутина. Он уже засыпал, и, как иногда после игры в карты, перед ним с фантастической быстротой замелькали карточные фигуры, он погрузился в сон без сновидений, но очень скоро проснулся и лежал, вслушиваясь в окружающую его таинственную тишину. Окна комнаты, выходящие на восток и на юг, были раскрыты. Из сада и с полей доносились нежные и сладкие ароматы, повсюду, вдалеке и вблизи, слышались неясные шорохи, которые обычно приносит с собой наступающее утро. Казанова не мог больше лежать спокойно, властная потребность перемен влекла его на простор. Из сада его звало щебетанье птиц, прохладный утренний ветерок касался его лба. Казанова бесшумно отворил дверь и осторожно спустился по лестнице, — благодаря его многократно испытанной ловкости, ему удалось пройти так, что деревянные ступени даже не скрипнули под ногами; затем, сойдя по каменной лестнице в нижний этаж, он через залу, где на столе еще стояли недопитые бокалы, вышел в сад. Шаги его по гравию производили шум, поэтому он сразу перешел на лужайку, которая в предрассветных сумерках казалась гораздо больше, чем была на самом деле. Затем Казанова проскользнул в аллею и пошел в ту сторону, откуда было видно окно Марколины. Оно было по-прежнему забрано решеткой, закрыто и завешено. Отойдя от дома на полсотни шагов, Казанова опустился на каменную

скамью. Он услышал, как за оградой сада проехала повозка, потом опять наступила тишина. Над лужайкой плыл легкий серый туман, словно там расстился опалово-прозрачный пруд с едва различимыми берегами. Казанове снова вспомнилась ночь, пережитая им в молодости в монастырском саду Мурано... или в каком-то другом парке — другая ночь... он уже не помнил какая... возможно, то были сотни ночей, слившихся в его воспоминаниях в одну, подобно тому как сотни женщин, которых он любил, превращались иногда в его воспоминаниях в одну, чей загадочный образ он стремился уловить всеми чувствами. Да разве, в конце концов, одна ночь не была похожа на другую? И одна женщина — на другую? Особенно теперь, когда все уже позади. И это слово «позади» беспрестанно стучало в его висках, как будто отныне оно должно было стать пульсом его загубленной жизни.

Казанове послышался какой-то шорох у стены за его спиной, или это было только эхо? Нет, шум донесся из дома. Окно Марколины вдруг оказалось настежь открытым, решетка отодвинутой, занавесь отдернутой в сторону. Из сумрака комнаты показался призрачный силуэт; Марколина в белом, доверху закрытом ночном одеянии подошла к окну, словно для того, чтобы вдохнуть живительный утренний воздух. Казанова быстро соскользнул на землю; спрятавшись под скамью, он, не сводя глаз, следил сквозь ветки деревьев за Марколиной, чей взор, казалось, бесцельно и бездумно погрузился в утреннюю мглу. Лишь через несколько секунд она как бы стряхнула с себя дремоту, взгляд ее стал сосредоточенным,

и она, медленно повернув голову, посмотрела направо и налево; затем высунулась из окна и взглянула вниз, точно что-то искала на земле, потом на минуту подняла голову с распущенными волосами, как бы обратив взор к окну верхнего этажа. С минуту она стояла неподвижно, упираясь раскинутыми руками в косяки окна, словно пригвожденная к невидимому кресту. Неясные черты ее лица вдруг как бы озарились изнутри, и Казанова увидел их более отчетливо. На ее лице мелькнула улыбка, руки ее упали, губы неслышно зашевелились, словно шептали молитву; она опять медленно и пытливо оглядела сад, быстро кивнула головой, и в то же мгновение кто-то, должно быть, притаившийся у ее ног, выскочил из окна. Это был Лоренци. Он не шел, а летел по гравию к аллее, пересек ее чуть ли не в десяти шагах от Казановой, лежавшего, затаив дыхание, под скамьей; поспешно повернул по ту сторону аллеи на узкую полосу газона, идущую вдоль стены, и исчез из виду. Скрипнули петли калитки — той самой, через которую Казанова вчера вечером пришел в сад вместе с Оливо и маркизом. Потом все стихло. Марколина все это время стояла совершенно неподвижно, но, как только она убедилась, что Лоренци в безопасности, вздохнула с облегчением, закрыла окно и задвинула его решеткой; занавесь упала как бы сама собой, и все стало как прежде; только над домом и садом уже вошел день, словно у него больше не было причины медлить.

Казанова по-прежнему лежал под скамейкой, вытянув вперед руки. Через некоторое время он выполз на середину аллеи и стал

пробираться на четвереньках дальше, до такого места, где его уже нельзя было увидеть ни из комнаты Марколины, ни из какого-нибудь другого окна. Только теперь он поднялся на ноги и выпрямился во весь рост; спина у него ныла; он размялся и наконец пришел в себя, снова стал самим собой, точно из побитой собаки превратился опять в человека, который осужден долго помнить побои не как физическую боль, а как глубокое унижение. «Почему,—спрашивал он себя,—не кинулся я к этому окну, пока оно было еще открыто? И не перемахнул через подоконник к ней? Разве могла бы, разве посмела бы она оказать мне сопротивление—лицемерка, лгунья, девка?» И он продолжал ее поносить, словно имел на это право, словно был ее возлюбленным, которого она, дав клятву верности, обманула. Он клялся, что, увидев ее, потребует у нее объяснения, что в присутствии Оливо, Амалии, маркиза, аббата, в присутствии служанки и всех домочадцев швырнет ей в лицо, что она просто низкая, дрянная потаскушка. Как бы репетируя, он со всеми подробностями рассказал сам себе все, что совершилось у него на глазах, и не отказал себе в удовольствии еще многое присочинить, чтобы еще более унижить ее; что она стояла нагая у окна и под дуновением утреннего ветра требовала от своего любовника непристойных ласк. Кое-как утолив свою первую ярость, Казанова задумался, не сможет ли он извлечь какую-нибудь пользу из того, что стало ему отныне известно. Разве теперь она не в его власти? Может быть, теперь угрозами ему удастся добиться от нее благосклонности, которой она не оказала ему добровольно? Но

этот подлый замысел сразу рухнул не столько потому, что Казанова понял его подлость, сколько потому, что он увидел его бесплодность и бессмысленность именно в данном случае. Что за дело до его угроз Марколине, которая никому не обязана отчетом в своих поступках, и, если это покажется ей важным, у нее достанет смелости, чтобы выгнать его вон, как клеветника и вымогателя. Но если бы даже она по какой-либо причине решилась купить тайну своей любовной связи с Лоренци, отдавшись ему, Казанове (он, конечно, знал, что это совершенно немыслимо), то разве наслаждение, которого он добьется таким способом, не превратится в невыразимую муку для него,— любя, он в тысячу раз сильнее стремился дарить счастье, чем его получать,— и разве это не толкнет его на какое-нибудь безумство или даже на самоубийство? Он, неожиданно для себя, оказался перед калиткой. Она была заперта. Значит, у Лоренци есть второй ключ. «Но кто же,— подумал он,— проскакал ночью верхом, когда Лоренци ушел после карт? Очевидно, нанятый для этого слуга». Невольно Казанова одобрительно усмехнулся... Они друг друга стоят—Марколина и Лоренци, философка и офицер. И у обоих впереди блестящее будущее. «Кто будет следующим любовником Марколины?—спросил он себя.—Болонский профессор, в доме которого она живет? Ох, какой же я глупец! Да он давно уже был им... Кто еще? Оливо? Аббат? Почему бы нет?! Или тот молодой слуга, который вчера стоял у ворот и глазел на нас, когда мы подъехали? Все! Я это знаю. Но Лоренци не знает. Тут у меня есть перед ним преимущество».

В глубине души он, разумеется, не только был убежден в том, что Лоренци — первый любовник Марколины, но и предполагал, что минувшая ночь была первой, которую она ему подарила; однако это не остановило потока злобно-сладострастных мыслей, продолжавших тесниться в его голове, пока он шел вдоль ограды, которая окружала сад. Он очутился вновь у двери в залу, оставленной им открытой, и понял, что ему пока ничего не остается, как только неслышно и незримо пробраться обратно в свою комнату в башне. С великой осторожностью прокрался он наверх и опустил в кресло, в котором сидел прежде перед столом, где, как бы ожидая его возвращения, лежали ничем не скрепленные листы рукописи. Невольно взгляд его упал на прерванную им посередине фразу; и он прочитал: «Вольтер будет бессмертен, это несомненно, но он купит бессмертие своего имени ценою бессмертия своей души; страсть к острословию изгрызла его сердце, как сомнения — его душу, и поэтому...» В это мгновение комнату залили красноватые лучи утренней зари, лист, который он держал в руках, запылал, и Казанова, точно побежденный, уронил его на стол на другие листы. Вдруг он почувствовал, что у него пересохло во рту, и налил себе воды из стоявшего на столе графина; вода была теплая и сладковатая. Казанова с отвращением отвернулся; со стены, из висевшего над комодом зеркала, глянуло на него бледное старческое лицо с упавшими на лоб спутанными волосами. Наслаждаясь самоистязанием, Казанова еще бессильнее опустил углы рта и, словно собираясь выступить на сцене в какой-то шу-

товской роли, еще больше взъерошил волосы, так что пряди их совсем спутались, показал язык своему отражению, выкрикнул нарочито хриплым голосом несколько грубых ругательств по своему же адресу и, наконец, точно избалованный мальчик, сдул на пол листы рукописи. Потом стал опять поносить Марколину и осыпал ее самой грубой, непристойной бранью. Затем он прошипел сквозь зубы:

— Ты думаешь, радость долговечна? Ты растолстеешь, станешь морщинистой и старой, как другие женщины, сейчас такие же молодые; ты сделаешься старухой с дряблыми грудями, с сухими седыми волосами, беззубой и вонючей... и, наконец, умрешь! Ты можешь умереть и молодой! И сгниешь! И тебя съедят черви.

В виде последнего отмщения он попытался вообразить ее себе мертвой: увидел ее в открытом гробу во всем белом, но не в состоянии был представить себе у нее никаких признаков тления; напротив, ее поистине неземная красота привела его опять в бешенство. Перед его закрытыми глазами гроб превратился в брачное ложе; Марколина лежала на нем, улыбаясь, смежив веки, и узкими бледными руками, как бы в насмешку, разорвала на своей нежной груди белое платье. Но как только он простер к ней руки, хотел броситься к ней, обнять ее, видение рассеялось без следа.

Кто-то постучал в дверь; Казанова очнулся от тяжелого сна, перед ним стоял Оливо.

— Как, уже за письменным столом?

— Я привык раннее утро посвящать работе,— сразу овладев собой, ответил Казанова.— Который час?

— Восемь,— ответил Оливо.— Завтрак уже подан в саду; как только вы прикажете, шева-лье, мы отправимся в монастырь. Но, я вижу, вашу рукопись развеял ветер!

И он принялся подбирать с полу бумаги. Казанова ему не мешал; подойдя к окну, он увидел Амалию, Марколину и трех девочек в белых платьях—они сидели за столом, накрытым к завтраку на лужайке в тени дома. Они весело пожелали ему доброго утра. Он видел одну Марколину, она с приветливой улыбкой подняла на него свои ясные глаза; на коленях она держала тарелку скороспелого винограда и клала в рот одну ягоду за другой. Все презрение, вся злоба, вся ненависть растаяли в сердце Казановы; он знал только, что любит ее. Словно опьянев от одного ее вида, он отошел от окна в глубину комнаты, где Оливо, все еще ползая на коленях по полу; вытаскивал разбросанные листы из-под стола и комода; Казанова попросил его не трудиться и выразил желание остаться одному, чтобы приготовиться к прогулке.

— Торопиться нечего,— сказал Оливо, стряхивая пыль с панталон,— к обеду мы вполне успеем вернуться. Впрочем, маркиз просил начать сегодня игру пораньше, сразу после обеда; по-видимому, ему важно вернуться домой к заходу солнца.

— Мне совершенно безразлично, когда начнется игра,— сказал Казанова, вкладывая листы рукописи в сумку,— я ни под каким видом не буду в ней участвовать.

— Нет, будете,— заявил Оливо с несвойственной ему решительностью и положил на

стол сверток золотых монет.— Мой долг, ше-валье, хоть и поздно, но с благодарностью.

Казанова отказался взять деньги.

— Вы должны их принять,— уговаривал его Оливо,— если не хотите меня глубоко обидеть; к тому же Амалия видела этой ночью сон, который побудит вас... нет, об этом она вам сама расскажет.

И он поспешно вышел. Казанова все же пересчитал золотые: их было сто пятьдесят — ровно столько, сколько он пятнадцать лет назад подарил жениху, или невесте, или ее матери,— он и сам теперь не помнил. «Разумнее всего было бы,— сказал он себе,— взять деньги, проститься и покинуть этот дом, постаравшись не видеть больше Марколины. Но разве я поступал когда-нибудь разумно? А может быть, тем временем из Венеции пришло письмо?.. Правда, моя милейшая хозяйка обещала сразу же мне его переслать...»

Служанка принесла между тем большой глиняный кувшин холодной родниковой воды, и Казанова вымылся весь, что очень его освежило; затем он надел свое парадное платье, в которое он нарядился бы еще накануне вечером, если бы у него нашлось время переодеться; но теперь он был очень доволен тем, что может явиться перед Марколиной в более достойном виде, чем вчера, и как бы предстать перед нею в новом облике.

В камзоле из серого блестящего шелка с вышивкой и широкими испанскими серебряными кружевами, в желтом жилете и в шелковых вишневого цвета панталонах, с благородной, но отнюдь не надменной осанкой, со снисходительной, но любезной улыбкой на устах

и с огнем неугасимой молодости в глазах спустился он в сад, где, к своему разочарованию, встретил сперва одного только Оливо, который предложил ему сесть рядом за стол и не обессудить за скромный завтрак. Казанова отдал должное молоку, маслу, яйцам и белому хлебу, а потом еще персикам и винограду, вкуснее которого он, казалось, никогда не едал.

Прибежали с лужайки три девочки, Казанова расцеловал их всех, позволив себе по отношению к тринадцатилетней такие же нежности, какие она вчера с готовностью принимала от аббата; но он сразу увидел, что искорки в ее глазах зажглись от совсем иного удовольствия, чем то, которое доставляет детски невинная игра. А Оливо не мог нарадоваться тому, как хорошо шевалье умеет обращаться с детьми.

— И вы действительно хотите уже завтра утром покинуть нас? — спросил он с робкой нежностью.

— Сегодня вечером, — ответил Казанова и при этом шутливо подмигнул: — Вы же знаете, дорогой Оливо, венецианские сенаторы...

— Давно у вас в долгу, — с горячностью перебил его Оливо, — пусть подождут! Оставайтесь у нас до послезавтра, нет, еще неделку.

Казанова медленно покачал головой и, схватив за руки маленькую Терезину, держал ее между коленями, словно пленницу. С улыбкой, в которой уже не было ничего детского, она мягко ускользнула от него как раз в ту минуту, когда из дому вышли Амалия и Марколина, первая — в черной, вторая — в белой шали, накинутой поверх светлого платья. Оливо предложил им обеим присоединиться к его просьбе.

— Это невозможно,— подчеркнуто резко произнес Казанова, так как ни Амалия, ни Марколина ни одним словом не поддержали приглашения Оливо.

Когда они шли по каштановой аллее к воротам, Марколина спросила Казанову, далеко ли подвинулась за ночь его работа, за которой Оливо, как он им тотчас же рассказал, еще ранним утром застал его. У Казановы едва не сорвался с языка двусмысленный и злобный ответ, который, не выдав его, поставил бы ее в тупик; но он обуздал свою страсть к остроумию, сообразив, что поспешность может ему только повредить, и вежливо ответил, что он внес лишь кое-какие изменения, которыми обязан вчерашнему разговору с ней.

Они сели в карету, неуклюжую и с жесткой обивкой, но все же удобную. Казанова поместился против Марколины, Оливо — против жены; но экипаж был настолько просторен, что, несмотря на толчки, всякое случайное соприкосновение между седоками было невозможно. Казанова попросил Амалию рассказать ему свой сон. Она приветливо, почти добродушно улыбнулась. Ни малейших следов обиды или негодования не было больше на ее лице.

— Я видела, Казанова,— начала она,— как вы подъехали в роскошной карете, запряженной шестеркой вороных, к какому-то светлому зданию. Вернее, карета остановилась, но я еще не знала, кто в ней сидит, и вот из нее вышли вы, в великолепном белом, шитом золотом парадном камзоле, еще более роскошном, чем надетый вами сегодня (при этом лицо ее приняло выражение дружеской насмешки), и на

вас, подумать только, была точно такая же тонкая золотая цепь, как сегодня, прежде я никогда не видела ее у вас! (Эта цепочка с золотыми часами, как и усыпанная полудрагоценными камнями табакерка, которую Казанова держал в руке, как бы играя ею, были последними недорогими украшениями, которые ему удалось сохранить.) Старик, похожий на нищего, открыл дверцы кареты — это был Лоренци; но вы, Казанова, вы были молоды, совсем молоды, еще моложе, чем тогда. (Она сказала «тогда», не опасаясь того, что из этого слова, шелестя крыльями, выпорхнули все ее воспоминания.)

Вы раскланялись во все стороны, хотя вокруг не было ни души, и прошли в ворота; они закрылись за вами с громким стуком, — не знаю, ветер ли захлопнул их или же Лоренци, — с таким стуком, что лошади испугались и ускакали с каретой прочь. Тут я услышала из соседних переулков крики, точно кто-то взывал о помощи, но вскоре все опять смолкло. Вы показались в одном из окон дома, я уже знала, что это игорный дом, и раскланялись во все стороны, но вокруг по-прежнему никого не было. Потом вы оглянулись, как будто позади вас в комнате кто-то стоял; но я знала, что и там никого не было. И вдруг я увидела вас в окне следующего этажа, где произошло в точности то же, и еще выше и выше, словно дом рос ввысь до бесконечности; и у каждого окна вы кланялись и разговаривали со стоящими позади людьми, которых на самом деле там не было. А Лоренци все время бежал вслед за вами по лестнице, но не мог вас догнать. Вы ведь не догадались подать ему милостыню...

— Что же дальше? — спросил Казанова, когда Амалия замолчала.

— Что-то было еще, но уже забыла, — ответила Амалия.

Казанова был разочарован; будь он на ее месте, он, как всегда в подобных случаях — шла ли речь о снах или о подлинных происшествиях, — постарался бы придать рассказу законченную форму, вложить в него некий смысл, и поэтому он с легким неудовольствием заметил:

— Во сне все бывает наоборот. Я — богач, а Лоренци нищий и старый.

— Лоренци не больно-то богат, — вмешался Оливо. — Его отец, правда, довольно состоятельный человек, но не ладит с сыном.

И, нимало не утруждая себя расспросами, Казанова узнал, что знакомством с лейтенантом все были обязаны маркизу, который несколько недель назад запросто привез его в дом Оливо. В каких отношениях находится юный офицер с маркизой, такому опытному человеку, как шевалье, объяснять не приходится; впрочем, если это не встречает никаких возражений у супруга, то и посторонним нечего об этом беспокоиться.

— Не знаю, так ли равнодушен маркиз, как вам кажется, Оливо, — сказал Казанова. — Разве вы не заметили, с каким злобным презрением обращается он с этим молодым человеком? Не поручусь, что все это кончится благополучно.

И теперь ничто не дрогнуло в лице Марколины. Казалось, весь разговор о Лоренци не вызывал в ней ни малейшего интереса, и она безмолвно любовалась открывшимся перед

ней видом. Извилистая дорога шла лесом, где росли оливы вперемежку с каменными дубами, и полого поднималась в гору; когда в одном месте лошади пошли шагом, Казанова предпочел выйти из кареты и идти пешком. Марколина рассказывала о живописных окрестностях Болоньи и о вечерних прогулках, которые она обычно совершала с дочерью профессора Морганьи. Она упомянула также и о своем намерении совершить в будущем году путешествие во Францию, чтобы лично познакомиться с известным математиком, профессором Парижского университета Согреню, с которым она состояла в переписке.

— Может быть, я доставлю себе удовольствие и по пути заеду в Ферне,— сказала она с улыбкой,— чтобы узнать из уст самого Вольтера, как отнесся он к памфлету своего опаснейшего противника, шевалье де Сенгаль.

Положив ладонь на подлокотник кареты так близко к руке Марколины, что ее пышный рукав, раздуваясь, слегка касался его пальцев, Казанова холодно ответил:

— Важно не столько отношение господина Вольтера к моему труду, сколько отношение потомства, ибо только ему будет принадлежать право произнести окончательный приговор.

— И вы полагаете,— проговорила Марколина серьезно,— что в таких вопросах, о которых здесь идет речь, вообще возможен окончательный приговор?

— В ваших устах меня удивляют подобные речи, Марколина, ваши философские и, если здесь уместно это слово, религиозные воззрения казались мне, правда, отнюдь не бесспор-

ными сами по себе, но все же пустившими прочные корни в вашей душе — если только вы вообще признаете ее существование.

Не обращая никакого внимания на колкость Казановы, Марколина спокойно взглянула на небо, раскинувшееся ярко-синим шатром над вершинами деревьев, и ответила:

— Иногда, особенно в такие дни, как сегодня,— и в этом слове для Казановы, который знал о ее любви, прозвучало трепетное благоговение, исходившее из глубины ее проснувшегося женского сердца,— мне кажется, что все, именуемое философией и религией,— не более чем игра словами, разумеется, благородная, но еще более бессмысленная, чем всякая иная. Нам никогда не будет дано постигнуть бесконечность и вечность; наш путь ведет от рождения к смерти; что же нам остается, как не жить по закону, заложенному в сердце каждого из нас или вопреки ему?.. Ибо и непокорство и смирение одинаково ниспосланы богом.

Оливо с робким восхищением посмотрел на племянницу, потом перевел боязливый взгляд на Казанову, искавшего возражение, которым он мог бы разъяснить Марколине, что она, так сказать, одновременно и доказывает и отрицает существование бога или что бог и дьявол для нее одно и то же; но он понимал, что не может противопоставить ее чувству ничего, кроме пустых слов, да и тех сегодня не мог найти. Однако его странно искажившееся лицо, по-видимому, опять пробудило в Амалии воспоминание о его вчерашних смутных угрозах, и она поторопилась заметить:

— И все же Марколина благочестива, верьте мне, шевалье!

Марколина растерянно улыбнулась.

— Все мы благочестивы, каждый по-своему,— вежливо ответил Казанова и стал смотреть вдаль.

Крутой поворот дороги—и они увидели монастырь. Над высокой наружной стеной вырисовывались тонкие верхушки кипарисов. На стук колес подъезжающей кареты ворота открылись, привратник с длинной белой бородой с достоинством поклонился и впустил гостей. Через аркаду, между колоннами которой по обе стороны виднелась темная зелень запущенного сада, они подошли к зданию самого монастыря; от его серых стен, лишенных каких-либо украшений и похожих на тюремные, на них неприветливо пахнуло холодом. Оливо дернул шнурок колокольчика, раздался дребезжащий звон и сразу умолк, монахиня в покрывале до самых глаз молча открыла дверь и повела гостей в просторную приемную с голыми стенами, где стояло только несколько простых деревянных стульев. В глубине часть комнаты отделяла железная решетка из толстых прутьев, за ней все тонуло во мраке. Казанова с горечью в сердце вспомнил о приключении, которое и теперь еще казалось ему одним из самых чудесных в его жизни, оно началось в совершенно такой же обстановке: в его душе воскресли образы двух монахинь из Мурано, которые, из любви к нему, стали подругами и подарили ему часы ни с чем не сравнимого наслаждения. И когда Оливо шепотом заговорил о здешнем строгом уставе, запрещающем сестрам после пострига без покрывала показываться перед мужчиной и, кроме того,

обрекающем их на вечное молчание, на губах у Казановы промелькнула усмешка.

Перед ними, точно вынырнув из мрака, стояла настоятельница. Безмолвно приветствовала она гостей; особенно благосклонно наклонила она закутанную покрывалом голову в ответ на благодарность Казановы за данное также и ему позволение посетить монастырь; Марколину, которая хотела поцеловать ей руку, она заключила в объятия. Потом жестом пригласила всех следовать за ней и вывела гостей через небольшую смежную комнату на галерею, замыкающуюся четырехугольником вокруг пышного цветника. В отличие от запущенного сада снаружи, за этим цветником, казалось, ухаживали особенно заботливо, и освещенные солнцем роскошные грядки играли чудесными, ярко рдеющими и нежными красками. Но к жаркому, почти одуряющему благоуханию, струившемуся и чашечек цветов, казалось, примешивался еще какой-то, совсем особенный и таинственный аромат, которому Казанова не мог найти подобного в своей памяти. Он хотел сказать об этом Марколине, но вдруг почувствовал, что этот таинственный, пьянящий и волнующий аромат исходил от нее: она сбросила шаль, перекинула ее через руку, и сквозь вырез ее открывающегося взглядам платья стал распространяться аромат ее тела, как бы родственный благоуханию сотен тысяч цветов, но все же совсем особенный. Настоятельница все так же безмолвно вела посетителей между клумбами по узким извилистым дорожкам, как сквозь затейливый лабиринт; по ее быстрой и легкой походке было заметно, что она сама испытывает радость,

показывая другим пестрое великолепие своего сада; и словно задавшись целью довести их до головокружения, она, точно в веселом хороводе, все быстрее и быстрее устремлялась вперед. И вдруг — Казанове показалось, будто он пробудился от смутного сна, — все они снова очутились в приемной. По ту сторону решетки двигались какие-то темные фигуры; невозможно было разобрать, было ли там три, пять или двадцать закутанных покрывалами женщин, которые, словно испугнутые призраки, блуждали за частыми прутьями решетки; и только кошачьи глаза Казановы могли различить человеческие фигуры в густых потемках. Настоятельница проводила посетителей до двери, молча, знаком дала им понять, что визит окончен, и мгновенно исчезла, прежде чем они успели ее должным образом поблагодарить. Вдруг, когда они уже хотели покинуть приемную, из-за решетки раздался женский возглас: «Казанова!» — только имя, но произнесенное с таким выражением, которого, казалось Казанове, он еще никогда не слышал. Женщина ли, когда-то им любимая или ни разу не виденная, нарушила только что святой обет, чтобы в последний — или, быть может, в первый — раз вслух произнести его имя; звучало ли в нем счастье нечаянного свидания, или боль безвозвратной утраты, или скорбная жалоба на то, что жгучее желание далеких дней сбылось слишком поздно и не принесет ничего, — этого Казанова не мог понять; он знал только одно: имя его, как ни часто шептала его нежность, бормотала страсть, в упоении восклицало счастье, ныне прозвучало впервые с любовью, проникающей в самое сердце. Но именно по-

этому всякое дальнейшее любопытство показалось ему неуместным и бессмысленным; и за тайной, которую ему не было суждено разгадать, навсегда затворилась дверь. Если бы не робкие и быстрые взгляды, которыми все обменялись, давая понять, что и они слышали мгновенно смолкший зов, то каждый из них мог бы предположить, что его обманул слух, ибо никто не вымолвил ни слова, пока они проходили через аркаду к воротам. Казанова шел последним, низко опустив голову, как после тяжелого расставания.

Привратник стоял у ворот, посетители подали ему милостыню и сели в карету, которая, нигде больше не задерживаясь, повезла их домой. Оливо казался смущенным, Амалия рассеянной, одна Марколина нисколько не была растрогана и, как думал Казанова, нарочно пыталась затеять с Амалией разговор обо всяких хозяйственных делах, поддерживать который вместо супруги пришлось Оливу. Вскоре в беседе принял участие также и Казанова, прекрасно разбиравшийся во всем, что касалось кухни и винного погреба, и не видевший причины, почему бы ему, в доказательство своих многосторонних познаний, не поделиться опытом и сведениями также и в этой области. Амалия тоже очнулась от задумчивости; после только что пережитого, почти сказочного, но тягостного приключения все они — и особенно Казанова — от души радовались возвращению в земную повседневность, и когда карета остановилась перед домом Оливо, откуда к ним доносился заманчивый запах жаркого и всевозможных пряностей, Казанова как раз был занят донельзя

возбуждающим аппетит описанием польского паштета, и даже Марколина слушала его с любезным вниманием молодой хозяйки, что весьма льстило Казанове.

В необыкновенно спокойном, почти довольном расположении духа, удивлявшем его самого, Казанова сидел потом вместе со всеми за столом и говорил Марколине шутливо-веселые любезности, как это приличествует знатному пожилому господину по отношению к благовоспитанной девушке из хорошего дома. Она охотно их принимала и необыкновенно мило на них отвечала. Ему так же трудно было представить себе, что его благонравная соседка — та самая Марколина, из окна которой у него на глазах прошлой ночью выпрыгнул молодой офицер, минутой раньше лежавший в ее объятьях, — как и допустить, что эта нежная девушка, которая еще любит возиться в траве с другими девочками-подростками, ведет ученую переписку с живущим в Париже знаменитым Согреню; и он сам же бранил себя за такую смехотворную скудость воображения. Разве не убеждался он уже много раз в том, что в душе каждого действительно живого человека самым мирным образом уживаются не только различные, но и, казалось бы, враждебные свойства? Да разве он сам, еще недавно глубоко потрясенный, отчаявшийся, готовый даже на злое дело человек, разве сейчас он не мягок, не добр, не отпускает таких веселых шуточек, что юные дочери Оливо всякий раз покатываются со смеху? Только по своему необычайному, почти звериному голоду, который всегда появлялся у него пос-

ле сильных волнений, он понимал, что еще далеко не обрел душевного покоя.

Вместе с последним блюдом служанка принесла письмо на имя шеваляе, только что доставленное для него нарочным из Мантуи. Оливо, заметивший, как Казанова побелел от волнения, приказал накормить и напоить посланца, а затем обратился к своему гостю:

— Не стесняйтесь, шеваляе, прочтите спокойно письмо.

— С вашего позволения,— ответил Казанова, с легким поклоном встал из-за стола, подошел к окну и с хорошо разыгранным равнодушием вскрыл письмо. Оно было от синьора Брагадино, сверстника и друга его отца, старого холостяка, которому было теперь за восемьдесят; лет десять назад, став членом Высшего Совета, он, по-видимому, с бóльшим рвением, чем другие покровители Казановы, хлопотал за него в Венеции. Письмо, написанное необыкновенно изящным почерком, но слегка дрожащей рукой, гласило:

«Дорогой Казанова!

Сегодня я наконец получил приятную возможность послать вам весть, коя, надеюсь, в главном отвечает вашим желаньям. В своем последнем заседании, состоявшемся вчера вечером, Высший Совет не только выразил готовность дозволить вам вернуться в Венецию, но и высказал пожелание, чтобы вы, по возможности, ускорили свое возвращение, ибо в самом недалеком будущем намерен воспользоваться вашей благодарностью, доказать каковую на деле вы обещали во множестве писем. Вероятно, вам неведомо, дорогой Казанова (ибо мы были так долго

лишены вашего присутствия), что за последнее время внутреннее положение нашего родного города, любимого всеми нами, начало внушать некоторые опасения — как касательно политики, так и нравов. Существуют тайные общества, направленные против нашего государственного строя и, по-видимому, даже замышляющие насильственный переворот; естественно, что в этих замыслах, которые можно было бы назвать более резким словом — заговоры, главным образом принимают участие некоторые свободомыслящие люди, враждебные религии и во всех отношениях безнравственные. Нам известно, что на площадях, в кофейнях, не говоря уже о частных домах, ведутся самые чудовищные, даже просто изменнические разговоры, по поймать виновных на месте преступления или неопровержимо доказать их вину удастся лишь в самых редких случаях, ибо признания, сделанные под пыткой, оказались столь недостоверными, что некоторые члены нашего Совета высказались за то, чтобы воздержаться впредь от подобных жестоких и притом подчас ненадежных способов следствия. Правда, нет недостатка в людях, готовых для поддержания общественного порядка и ради блага государства оказать услугу правительству, но почти все эти люди слишком хорошо известны как благонамеренные сторонники существующего строя, чтобы в их присутствии кто-нибудь позволил себе неосторожное замечание или — тем более — изменнические речи. И вот один из сенаторов, имени которого я пока не хочу называть, высказал во вчерашнем заседании мнение, что некто, пользующийся

репутацией человека без нравственных устоев и, кроме того, вольнодумца,— короче говоря, такой человек, как вы, Казанова,— появившись опять в Венеции, несомненно, сразу же снискал бы расположение, а при известной ловкости вскоре и неограниченное доверие именно в тех подозрительных кругах, о которых здесь идет речь. На мой взгляд, вокруг вас неизбежно, словно по закону природы, собрались бы именно те люди, обезвредить и примерно наказать которых столь важно для Высшего Совета, неустанно радеющего о благе государства; итак, дорогой Казанова, если бы вы согласились тотчас же по возвращении на родину завязать для упомянутой цели знакомства в ныне уже достаточно известных кругах, поддерживать с ними дружеские отношения, как человек таких же взглядов, и обо всем, что покажется вам подозрительным или достойным внимания, незамедлительно представлять Совету обстоятельные донесения— то мы бы сочли это не только доказательством вашего патриотического рвения, но и несомненным свидетельством вашего полного отказа от того образа мыслей, за который в свое время вы понесли хотя и жестокую, но, как вы теперь признаете (если мы можем положиться на ваши письменные уверения), не совсем несправедливую кару под свинцовыми крышами. За эти услуги вам на первых порах предполагается назначить месячное жалованье в двести пятьдесят лир, помимо отдельного вознаграждения в особенно важных случаях, а также немедленного и щедрого возмещения расходов, которые, естественно, могут возникнуть у вас при выполнении этих

обязанностей (как то: на угощение того или иного лица, на небольшие подарки особам женского пола и т. п.). Для меня отнюдь не составляет тайны, что вам придется побороть кое-какие колебания, прежде чем принять решение в желательном для нас смысле; но позвольте мне, вашему старому и искреннему другу (который когда-то тоже был молод), заметить вам, что ни в коем случае нельзя считать бесчестным оказание возлюбленному отечеству услуг, необходимых для его дальнейшего благополучия, даже если характер их показался бы поверхностно и непатриотически мыслящему гражданину малодостойным. Мне хотелось бы еще прибавить, что вы, Казанова, достаточно хороший знаток людей, чтобы отличить вертопраха от преступника или насмешника — от еретика; поэтому в вашей власти будет миловать тех, кто заслуживает снисхождения, и только тех подвергать каре, кто, по вашему убеждению, должен ее понести. Но прежде всего подумайте, что исполнение вашего самого заветного желания — возвращение ваше в родной город, — если бы вы отвергли милостивое предложение Высшего Совета, оказалось бы отложенным надолго, боюсь и сказать — насколько, и, если уместно упомянуть здесь и об этом, мне, старику восьмидесяти одного года, по всем людским подсчетам, пришлось бы отказаться от удовольствия когда-либо свидеться с вами. Ввиду того, что предлагаемая вам должность, по понятным причинам, должна носить не столько официальный, сколько тайный характер, прошу Вас адресовать свой ответ, о котором я обещал уве-

домить Совет в его ближайшем заседании, назначенном через неделю, именно мне. Прошу Вас, по возможности, поторопиться, ибо, как я уже упоминал выше, к нам ежедневно обращаются с просьбами очень многие люди, достойные полного доверия и готовые из любви к отечеству добровольно служить Совету. Разумеется, среди них едва ли найдется хоть один, кто мог бы сравниться с Вами опытом и умом, дорогой Казанова; и если ко всему прочему Вы еще хоть немного примете во внимание симпатию, которую я питаю к Вам, то вряд ли я могу сомневаться в том, что Вы с радостью последуете призыву, обращенному к Вам столь высоким и благосклонным собранием. В ожидании ответа, с неизменными дружескими чувствами

преданный вам *Брагадино*.

Приписка: Немедленно по получении Вашего ответа я с удовольствием выдам на банкирский дом Валори в Мантуе вексель на сумму в двести лир в покрытие ваших дорожных расходов.

Вышеподписавшийся».

Казанова давно уже дочитал письмо до конца, но все еще держал перед собой листок, чтобы никто не заметил мертвенной бледности его искажившегося лица. Между тем обед продолжался, как всегда сопровождаемый стуком тарелок и звоном бокалов, но никто не произносил ни слова. Наконец Амалия робко проговорила:

— Кушанье стынет, шевалье, не желаете ли сесть к столу?

— Благодарствую,— ответил Казанова и повернулся к присутствующим лицом, которому он успел придать спокойное выражение

лишь благодаря своему необыкновенному умению притворяться.— Я получил из Венеции превосходные известия и должен тотчас же отослать ответ. Поэтому прошу меня извинить и позволить мне удалиться к себе.

— Как вам будет угодно, шевадье,— сказал Оливо.— Но не забудьте, что через час начнет-ся игра.

Очутившись в своей комнате, Казанова упал на стул, весь обливаясь холодным потом; его бил озноб, и к самому горлу подступала тошнота, которая, казалось, сейчас его задушит. Он не мог сразу собраться с мыслями и прилагал все свои силы к тому, чтобы удержаться — от чего, он и сам не знал. Ибо здесь в доме ведь не было никого, на ком можно было бы сорвать свой неистовый гнев, а смутную мысль, что Марколина каким-то образом причастна к выпавшему на его долю неопишуемому унижению, он все же нашел в себе силу признать несуразной. Едва он немного опомнился, как сразу подумал о мщении этим негодяям, которым кажется, что им удастся его нанять, сделать из него полицейского шпиона. Он проберется в Венецию переодетым и какой-нибудь хитростью изведет всех этих злодеев или хотя бы одного из них — того, кому принадлежит весь этот гнусный замысел. Уж не сам ли это Брагадино? Почему бы нет? Старик, настолько бесстыдный, что посмел написать такое письмо Казанове, настолько слабоумный, что счел Казанову — Казанову, которого ведь когда-то знал! — годным для роли шпиона. О, в том-то и дело, что он теперь не знает Казановы! Никто его теперь не знает, ни в Венеции, ни где бы то ни было. Он еще себя

покажет. Конечно, он уже не так молод и красив, чтобы соблазнить добродетельную девушку, и уже не так ловок и гибок, чтобы совершать побег из тюрем и ходить по скатам крыши, но он по-прежнему умнее всех! И очутись он только в Венеции, он сможет предпринять все, что захочет, лишь бы ему наконец туда попасть! И тогда, быть может, и не понадобится никого убивать; есть другие способы мести, более хитроумные и более изощренные, чем обыкновенное убийство; а если сделать вид, будто он принимает предложение господ сенаторов,—тогда ничего не может быть легче, чем погубить именно тех, кого захочет погубить он, а не тех, кого имеет в виду Высший Совет,—несомненно, лучших и достойнейших венецианцев! Как? Только потому, что они — враги этого подлого правительства, только потому, что они считаются еретиками, им придется сидеть в тех самых камерах под свинцовой крышей, где он томился двадцать пять лет тому назад, или даже сложить голову на плахе? Он еще во сто крат сильнее ненавидит это правительство и с гораздо большими основаниями, а еретиком — еще более убежденным, чем все эти люди,—он был всю свою жизнь, остался им и сейчас. От скуки и омерзения он в последние годы разыгрывал сам перед собой дурацкую комедию. Ему верить в бога? Да что это за бог, если он милостив к молодым и оставляет стариков? Ну и бог, который, когда ему заблагорассудится, оборачивается дьяволом, бог, который превращает богатство в нищету, счастье в несчастье, радость в горе? Мы для тебя забава и должны еще тебе молиться? Сомневаться в твоём существовании —

единственное остающееся у нас средство, чтобы тебя не хулить! Да не будет тебя! Ибо если ты существуешь, то я должен тебя проклинать! Он сжал кулаки и, выпрямившись, грозил ими небу. Его губы невольно прошептали ненавистное имя — Вольтер! Да, теперь он был в должном расположении духа, чтобы закончить свой памфлет против старого фернейского мудреца. Закончить? Нет, он его только теперь начнет. Новый! Другой, в котором этот смешной старик получит по заслугам... за свою осторожность, за свою половинчатость, за свое раболепие. Он безбожник? Он, о котором в последнее время все чаще и чаще слышишь, что он отлично ладит с попами и церковью, а по праздникам даже исповедуется? Еретик? Он? Болтун, велеречивый трус — и только! Но близко уже время жестокой расплаты, и тогда вместо великого философа людям предстанет ничтожный остряк, писака. И до чего же он важничал, этот добрейший господин Вольтер... «Ах, милейший синьор Казанова, я не на шутку на вас сердит. Разве могут меня интересовать сочинения господина Мерлина? Вы виноваты в том, что я потратил на глупости целых четыре часа». Дело вкуса, дражайший господин Вольтер! Сочинения Мерлина будут читать еще тогда, когда «Девственница» будет давно забыта... и, может быть, тогда оценят и мои сонеты, которые вы мне вернули с такой наглой усмешкой, не сказав о них ни слова. Но все это мелочи. Не будем затемнять главного авторскими обидами. Речь идет о философии — о боге!.. Мы скрестим клинки, господин Вольтер, только сделайте одолжение, до времени не умрите.

Казанова хотел было сразу же засесть за работу, но вдруг вспомнил, что нарочный ждет ответа. Он быстро набросал письмо этому старому дуралею Брагадино — письмо, преисполненное лицемерного смирения и лживого восхищения: он с радостью и благодарностью принимает милость Высшего Совета и ожидает обратной почтой векселя, чтобы, по возможности скорее, припасть к стопам своих благодетелей — и прежде всего к стопам высокочтимого друга своего отца, Брагадино.

Когда Казанова запечатывал письмо, в дверь тихо постучали; вошла старшая, тринадцатилетняя дочурка Оливо: ей поручено передать, что все общество уже в сборе и с нетерпением ждет шеваляе, чтобы начать игру. Глаза ее странно блестели, щеки горели, густые, поженски причесанные волосы отливали у висков синевой, детский рот был полуоткрыт.

— Ты пила вино, Терезина? — спросил Казанова, подойдя к ней.

— Правда! А вы сразу заметили, шеваляе? — Она еще пуще покраснела и, смутясь, провела кончиком языка по нижней губе.

Казанова схватил ее за плечи,дохнул ей прямо в лицо, привлек к себе и бросил на кровать; она смотрела на него широко раскрытыми беспомощными глазами, в которых погас блеск; но когда она открыла рот, чтобы закричать, Казанова взглянул на нее так свирепо, что она почти замерла и во всем ему уступила. Он целовал ее нежно и страстно и шептал:

— Ты не должна рассказывать об этом аббату, Терезина, даже на исповеди; и когда

потом у тебя будет любовник, или жених, или даже муж, ему тоже ни к чему это знать. Ты вообще должна всегда лгать; даже отцу с матерью и сестрам, чтобы тебе хорошо жилось на свете. Запомни это.

Он кощунствовал, а Терезина, должно быть, приняла его слова за благословение, ибо взяла его руку и благоговейно ее поцеловала, как руку священника. Он громко рассмеялся.

— Пойдем,—сказал он потом,—пойдем, моя малютка жена, мы явимся в залу рука об руку!

Она, правда, немного жеманилась, но улыбалась, не выражая неудовольствия. Они вовремя вышли из комнаты, так как по лестнице, запыхавшись и нахмурив брови, поднимался Оливо, и Казанова тотчас понял, что его могли смутить грубоватые шутки маркиза или аббата насчет долгого отсутствия дочки. Оливо сразу повеселел при виде Казановы, который стоял на пороге, держа как бы в шутку под руку девочку.

— Извините, дорогой Оливо, что я заставил себя ждать. Мне нужно было закончить письмо.—Как бы в доказательство он протянул письмо Оливо.

— Возьми его,—приказал Оливо Терезине, приглаживая ее слегка растрепавшиеся волосы,—и отнеси посылному.

— А вот,—прибавил Казанова,—два золотых, передай их ему и скажи, чтобы поторопился: письмо еще сегодня должно непременно уйти из Мантуи в Венецию, а мою хозяйку пусть предупредит, что я... вернусь сегодня вечером.

— Сегодня вечером? — воскликнул Оливо.— Это невозможно!

— Ну, посмотрим,— снисходительно проговорил Казанова.— А вот и тебе золотой, Терезина...— И, не слушая возражений Оливо, продолжал: — Положи его в свою копилку, Терезина; письмо, которое ты держишь в руках, стоит не одну тысячу дукатов.

Терезина убежала, а Казанова с довольным видом кивнул головой; его особенно забавляло, что на глазах у отца он платит за благосклонность девчонке, чья мать и бабушка тоже принадлежали ему.

Когда Казанова вошел с Оливо в залу, игра уже началась. Он весело, но с достоинством ответил на всеобщие радостные приветствия и сел против маркиза, державшего банк. Окна в сад были открыты. Казанова услышал приближающиеся голоса. Мимо окна прошли Марколина с Амалией, заглянули мельком в залу и исчезли. Пока маркиз сдавал карты, Лоренци с величайшей учтивостью обратился к Казанове:

— Воздаю вам должное, шевалье, вы были осведомлены лучше меня: наш полк в самом деле уже завтра перед вечером выступает в поход.

Маркиз казался удивленным.

— И вы только сейчас нам об этом сообщаете, Лоренци?

— Не так уж это важно!

— Для меня — нет,— проговорил маркиз,— но для моей супруги — весьма! Вы не находите?— И он засмеялся хриплым, отталкивающим смехом.— Впрочем, это не лишено важности и для меня! Я ведь проиграл вам вчера четыреста дукатов, а отыграться, пожалуй, уже не будет времени.

— Лейтенант обыграл также и нас,— заметил младший Рикарди, а старший, молчаливый, посмотрел через плечо на брата, стоявшего, как и вчера, у него за спиной.

— Удачу и женщин...— начал аббат.

— Кто умеет, приневолит,— кончил вместо него маркиз.

Лоренци небрежно высыпал перед собой золотые монеты.

— Вот они. Если желаете — все на одну карту, чтобы вам не пришлось долго гнаться за своими деньгами, маркиз!

Казанова почувствовал вдруг к Лоренци какую-то безотчетную жалость; будучи довольно высокого мнения о своем даре предвидения, он был убежден в том, что лейтенант будет убит в первом же предстоящем ему сражении. Маркиз не согласился на такую высокую ставку; Лоренци не настаивал; игра, в которой, как и накануне, участвовали скромными суммами все присутствующие, продолжалась вначале при умеренных ставках. Но спустя четверть часа они повысились; а в течение следующих пятнадцати минут Лоренци проиграл маркизу свои четыреста дукатов. К Казанове счастье, казалось, было равнодушно; он выигрывал, проигрывал и опять выигрывал, с до смешного правильным чередованием.

Лоренци вздохнул с облегчением, когда его последний золотой перешел к маркизу, и встал из-за стола.

— Благодарю вас, господа. Сегодняшняя игра,— он запнулся,— надолго будет для меня последней в этом гостеприимном доме. А теперь, многоуважаемый господин Оливо, позво-

льте мне проститься с дамами, прежде чем отправиться верхом в город, куда мне хотелось бы попасть еще до захода солнца, чтобы снарядиться в завтрашний поход.

«Наглый лжец! — подумал Казанова. — Ночью ты будешь опять здесь, у Марколины!» В нем снова вспыхнула ярость.

— Как? — воскликнул маркиз с неудовольствием. — До вечера еще далеко, а игра прекращается? Если желаете, Лоренци, можно послать моего кучера домой, он передаст маркизе, что вы опоздаете.

— Я еду в Мантую, — нетерпеливо возразил Лоренци.

Не обратив на его слова никакого внимания, маркиз продолжал:

— Времени еще достаточно, выкладывайте собственные свои золотые, как у вас их ни мало. — И он бросил Лоренци карту.

— У меня нет больше ни одного, — устало ответил тот.

— Невероятно!

— Ни одного, — повторил Лоренци с видимым отвращением.

— Пустяки! — воскликнул маркиз с неожиданной любезностью, производившей довольно неприятное впечатление. — Вот вам десять дукатов в долг, а если понадобится, то могу дать и больше.

— В таком случае я ставлю дукат, — сказал Лоренци и взял карту. Она была бита картой маркиза.

Лоренци продолжал игру, словно это само собой разумелось, и вскоре задолжал маркизу сто дукатов. Банк перешел к Казанове, которому везло еще больше, чем маркизу. Игра опять

превратилась в схватку между тремя партнерами, но сегодня этому покорились даже братья Рикарди; наравне с аббатом и Оливо они оставались изумленными зрителями. Никто не произносил ни слова, говорили только карты, но говорили достаточно ясно. По воле случая все наличные деньги стеклись к Казанове, и спустя час он выиграл у Лоренци две тысячи дукатов, которые полностью уплатил из своего кармана маркиз, оставшийся без единого сольдо. Казанова предложил ему займы любую сумму. Но маркиз покачал головой.

— Благодарю вас,— сказал он,— теперь довольно. Для меня игра закончена.

Из сада доносились возгласы и смех детей. Казанова различил голос Терезины; он сидел спиной к окну и не обернулся. Еще раз, ради Лоренци, сам не зная почему, он попытался уговорить маркиза продолжать игру. Но тот только еще более решительно покачал головой. Лоренци встал.

— Я позволю себе, синьор маркиз, завтра до полудня вручить вам в собственные руки деньги, которые я вам задолжал.

Маркиз отрывисто рассмеялся.

— Любопытно, где вы их раздобудете, синьор лейтенант Лоренци. Ни в Мантуе, ни где-либо в другом месте не найдется человека, который ссудил бы вас и десятью дукатами, не говоря уже о двух тысячах, в особенности сегодня, коль скоро вы завтра выступаете в поход; неизвестно еще, вернетесь ли вы.

— Вы получите свои деньги завтра в восемь утра, синьор маркиз... Честное слово!

— Ваше честное слово,— холодно проговорил маркиз,— не стоит в моих глазах и одного дуката, тем более двух тысяч.

Все затаили дыхание. Однако Лоренци ответил, по-видимому, без большого волнения:

— Вы дадите мне удовлетворение, синьор маркиз!

— С удовольствием, синьор лейтенант,— ответил маркиз,— как только вы уплатите долг.

Оливо, крайне расстроенный, проговорил, слегка запинаясь:

— Я ручаюсь за уплату, синьор маркиз. К несчастью, у меня нет такой суммы наличными, чтобы немедленно... но мой дом, мои владения...— И он неловким движением обвел вокруг себя рукой.

— Я не принимаю вашего поручительства,— сказал маркиз,— так как желаю вам добра, вы потеряли бы свои деньги.

Казанова видел, что все взоры устремлены на золото, лежащее перед ним. «Не поручиться ли мне за Лоренци?— подумал он.— Что, если я уплачу за него... Маркиз не мог бы этого отвергнуть. Пожалуй, это даже моя обязанность. Золото ведь— маркиза». Но он молчал. Он чувствовал, что у него зарождается какой-то смутный план, но для того, чтобы он стал вполне ясным, нужно было время.

— Вы получите свои деньги еще сегодня, до наступления ночи,— сказал Лоренци.— Через час я буду в Мантуе.

— Но ваша лошадь может сломать себе шею,— возразил маркиз.— Вы тоже... Может быть, даже нарочно.

— Однако,— с досадой проговорил аббат,— не может же лейтенант чудом раздобывать вам деньги.

Оба брата Рикарди засмеялись, но сразу оборвали смех.

— Несомненно,— обратился к маркизу Оливо,— что прежде всего вы должны разрешить лейтенанту Лоренци удалиться.

— Только под залог!— воскликнул маркиз с загоревшимися глазами, словно осенившая его мысль доставила ему особенное удовольствие.

— Недурная идея,— немного рассеянно отозвался Казанова, план которого уже почти созрел.

Лоренци снял с пальца перстень, и он покатился по столу. Маркиз его подхватил:

— Тысячу он, пожалуй, стоит.

— А этот?— И Лоренци швырнул маркизу второй перстень.

Тот, кивнув головой, сказал:

— Столько же.

— Теперь вы удовлетворены, синьор маркиз?— спросил Лоренци, собираясь выйти.

— Удовлетворен,— усмехаясь, ответил маркиз,— тем более что оба кольца — краденые.

Лоренци быстро повернулся и занес над столом кулак, чтобы обрушить его на маркиза. Оливо и аббат схватили его за руку.

— Мне знакомы оба эти камня,— сказал маркиз, не трогаясь с места,— хотя они и в новой оправе. Смотрите, господа, смарагд с небольшим изъяном, не то он стоил бы в десять раз дороже. Рубин — без порока, но мал. Оба эти камня вынуты из драгоценного убора, который я когда-то подарил своей жене. И так как я,

конечно, не могу допустить мысли, что маркиза дала оправить эти камни в кольца для лейтенанта Лоренци, то они, по-видимому, вместе со всем убором могли быть только украдены. Итак, залогом я пока что удовлетворен, господин лейтенант.

— Лоренци! — воскликнул Оливо. — Все мы даем вам слово, что ни одна душа никогда не узнает о том, что здесь произошло.

— И что бы ни совершил синьор Лоренци, — сказал Казанова, — вы большой подлец, господин маркиз.

— Хочу надеяться! В наши с вами годы, шевалье де Сенгаль, хотя бы в подлости никому нельзя уступать первенства. Доброй ночи, господа!

Маркиз встал, никто не ответил на его поклон, и он вышел из комнаты. На одно мгновение стало так тихо, что из сада вновь донесся смех детей, показавшийся неестественно громким. И кто мог бы найти слова, которые в эту минуту проникли бы в душу Лоренци, все еще стоявшего с простертой над столом рукой? Казанова один сидел по-прежнему на своем месте и невольно залюбовался юношей, который, казалось, превратился в изваяние, застыв в своей грозной и благородной позе, теперь, правда, уже утратившей смысл. Наконец Оливо приблизился к нему, как бы с намерением успокоить его; подошли также и братья Рикарди, по-видимому, решил заговорить и аббат, но Лоренци, вздрогнув всем телом, повелительным и негодующим жестом пресек всякую попытку выразить ему участие и с вежливым поклоном, неторопливо вышел из залы. В ту же секунду

Казанова, успевший тем временем собрать в шелковый платок лежавшее перед ним золото, поднялся и последовал за Лоренци. Он чувствовал, не видя лиц присутствующих, что никто из них не усомнился в его намерении немедленно сделать то, чего они все время от него ждали,—отдать свой выигрыш Лоренци.

Он догнал Лоренци в каштановой аллее, которая вела от дома к воротам, и сказал ему непринужденно:

— Не позволите ли вы мне сопровождать вас в вашей прогулке, синьор лейтенант Лоренци?

Лоренци, не глядя на Казанову, ответил надменным тоном, вряд ли уместным в его положении:

— Как вам будет угодно, шевалье; но боюсь, что вы не найдете во мне разговорчивого собеседника.

— Тем более разговорчивого собеседника вы, быть может, найдете во мне, лейтенант Лоренци,—сказал Казанова,—и если вы не возражаете, пройдемся среди виноградников, где мы сможем побеседовать без помехи.

Они свернули с проезжей дороги на ту самую узкую тропинку вдоль садовой ограды, по которой Казанова накануне проходил вместе с Оливо.

— Вы совершенно справедливо предполагаете,—начал Казанова,—что я намерен предложить вам сумму, которую вы задолжали маркизу, но не займы, ибо —надеюсь, вы простите меня—это было бы слишком рискованно, а как возмещение, разумеется, ничтожное, за услугу, которую, быть может, вы в состоянии оказать мне.

— Я слушаю вас,—холодно произнес Лоренци.

— Прежде чем говорить дальше,—ответил таким же тоном Казанова,—я принужден поставить одно условие—продолжение этого разговора я ставлю в зависимость от вашего согласия на него.

— Назовите свое условие.

— Вы должны дать честное слово, что выслушаете меня, не перебивая, даже если бы сказанное мною вызвало у вас недоумение, неудовольствие или, может быть, гнев. От вас всецело зависит, синьор лейтенант Лоренци, пожелаете ли вы потом принять или отвергнуть мое предложение, в необычности которого я вполне отдаю себе отчет; но я жду от вас только ответа «да» или «нет», и, каков бы он ни был, никогда ни одна живая душа не узнает, о чем здесь шла речь между двумя людьми чести, которые, может быть, одновременно люди погибшие.

— Я готов выслушать ваше предложение.

— И принимаете мое предварительное условие?

— Я вас не буду прерывать.

— И не произнесете в ответ ни одного слова, кроме «да» или «нет»?

— Ничего, кроме «да» или «нет».

— Хорошо,—сказал Казанова. И в то время, как они медленно поднимались по холму между виноградниками в зное клонившегося к закату дня, Казанова начал:—Мы лучше пойдем друг друга, если рассмотрим дело с точки зрения законов логики. Совершенно ясно, что у вас нет никакой возможности достать деньги, которые вы должны маркизу,

к назначенному им сроку; а если бы вы их ему не уплатили, он твердо решил погубить вас,— в этом тоже не может быть сомнения. Ввиду того, что он знает о вас больше (тут Казанова осмелился зайти дальше, чем следовало, но он любил подобные небольшие, но вполне безопасные отклонения от заранее начертанного пути), чем обнаружил перед нами сегодня, вы действительно целиком находитесь во власти этого негодяя, и ваша репутация, как офицера и дворянина, погибла. Это одна сторона дела. Но вы спасены, если только уплатите долг, и в ваших руках опять окажутся кольца, неизвестными путями к вам попавшие; а быть спасенным означает для вас при данных обстоятельствах не более и не менее, как вернуться к жизни, с которой вы, можно сказать, как бы свели счеты,— притом к жизни, полной блеска, счастья и славы, ибо вы молоды, прекрасны и отважны. Такое будущее кажется мне достаточно радужным,— в особенности, когда в противном случае все сулит лишь бесславную, даже позорную гибель,— чтобы поступить ради него предвзвешенно, коего лично у вас, в сущности, никогда и не было. Ведь я знаю, Лоренци,— поспешно прибавил он, точно желая предупредить возражение, которого ожидал,— у вас нет никаких предвзвешенных так же, как их нет и никогда не было у меня; и я намерен потребовать от вас не больше того, на что я, ни минуты не раздумывая, решился бы на вашем месте при подобных обстоятельствах, ибо я действительно никогда не останавливался перед подлостью, или, вернее, тем, что именуют так дураки на нашей земле, когда этого требовал

рок или просто моя прихоть. Но зато я, подобно вам, Лоренци, был готов в любую минуту поставить на карту свою жизнь и таким образом расквитаться. Я готов на это и сейчас... в случае, если бы мое предложение пришлось вам не по душе. Мы с вами из одного теста, Лоренци, мы братья по духу и можем без ложного стыда гордо обнажить друг перед другом свою душу. Вот мои две тысячи дукатов,—вернее, ваши,—если вы дадите мне возможность провести, вместо вас, нынешнюю ночь с Марколиной. Не будем останавливаться, Лоренци, продолжим нашу прогулку.

Они шли полями под низкорослыми фруктовыми деревьями, между которыми вились отягченные тяжелыми гроздьями виноградные лозы; и Казанова безо всякого перерыва продолжал:

— Не отвечайте мне пока, Лоренци, я еще не кончил. Мой замысел, если бы вы имели намерение взять Марколину в жены или если бы сама Марколина поощряла с вашей стороны подобные надежды или мечты, был бы, конечно, не столь дерзким, сколь безнадежным и потому бессмысленным. Но, точно так же, как прошлая ночь была первой ночью любви, подаренной вам Марколиной (это свое предположение Казанова тоже высказал как не подлежащую сомнению истину), так и наступающая ночь, по всем людским расчетам и по предположению самой Марколины и вашему собственному, должна стать вашей последней ночью перед разлукой на очень долго, может быть, навсегда. И я совершенно убежден, что, ради спасения своего возлюбленного от верной

гибели, Марколина — стоило бы ему пожелать — без колебаний согласилась бы подарить эту последнюю ночь его спасителю. Ведь она тоже философка и так же свободна от предрассудков, как мы с вами. Однако, несмотря на всю мою уверенность в том, что Марколина выдержала бы такое испытание, в мои намерения отнюдь не входит подвергать ему Марколину, ибо обладание женщиной безвольной и внутренне противящейся как раз в этом случае не отвечает моим стремлениям. Не только как любящий, но и как любимый хочу вкусить я счастье, которое кажется мне таким безмерным, что потом я был бы готов заплатить за него жизнью. Поймите меня правильно, Лоренци! Марколина не должна заподозрить, что прижимает к своей божественной груди меня, — напротив, она должна быть твердо уверена, что в ее объятиях не кто иной, как вы. Ваше дело — подготовить этот обман, мое — его поддержать. Вам не будет стоить особого труда убедить ее в том, что вы принуждены покинуть ее еще до зари; повод к тому, что на этот раз она будет наслаждаться одними безмолвными ласками, у вас тоже найдется. Притом, во избежание малейшей опасности последующего разоблачения, я вовремя притворюсь, будто слышу под окном подозрительный шорох, накину свой — или, вернее, ваш — плащ, который вам, конечно, придется мне для этой цели одолжить, и исчезну через окно — навсегда. Ибо я, разумеется, для видимости уеду еще сегодня вечером, а затем, под предлогом того, что забыл важные бумаги, верну кучера с полдороги и через заднюю калитку — ключ вы мне дадите, Лоренци! — проникну в сад к окну

Марколины, которое откроется в полночь. Своё платье, башмаки и чулки я сниму в карете, на мне будет только плащ, так что после моего смахивающего на бегство ухода не останется ничего, что могло бы выдать меня или вас. Свой плащ и две тысячи дукатов вы получите у меня в гостинице, в Мантуе, завтра в пять часов утра, так что сможете швырнуть в лицо маркизу его деньги еще до установленного часа. В этом я вам торжественно клянусь. Теперь я кончил.

Казанова внезапно остановился. Солнце клонилось к закату, легкий ветерок пробежал по желтым колосьям, красноватый отблеск падал на башню над домом Оливо. Молча остановился и Лоренци. Ни один мускул не двигался на его бледном лице, он неподвижно смотрел вдаль поверх плеча Казановы. Руки его вяло повисли, между тем как пальцы Казановы, готового ко всему, как бы случайно сжимали рукоять шпаги. Прошло несколько секунд, но Лоренци все еще стоял молча и неподвижно. Он казался погруженным в спокойное раздумье; но Казанова был по-прежнему настороже и, левой рукой держа платок с дукатами и стиснув рукоять шпаги правой, проговорил:

— Мое предварительное условие вы соблюли, как человек чести. Знаю — вам это было нелегко. Ибо, хотя мы и лишены предрассудков, вся обстановка, в которой мы живем, настолько ими отравлена, что мы не можем полностью от них освободиться. И так же, как вы, Лоренци, в течение этой четверти часа были не раз близки к тому, чтобы схватить меня за горло, так и я, — должен вам признаться, —

некоторое время помышлял подарить вам две тысячи дукатов как человеку... нет, как своему другу; ведь мне редко приходилось с первого же мгновения испытывать к кому-нибудь такую загадочную приязнь, как к вам, Лоренци! Но если бы я поддался этому великодушному порыву, то уже через секунду глубоко бы раскаялся в нем,—точно так же, как вы, Лоренци, за секунду до того, как пустить себе пулю в лоб, пришли бы к горестному сознанию, что вы—глупец, которому нет равного, ибо вы пренебрегли тысячами ночей любви, каждый раз с новыми женщинами, ради одной ночи, за которой более не последует ничего—ни ночи, ни дня.

Лоренци все еще молчал; его молчание длилось секунды, оно длилось минуты, и Казанова задавался вопросом, как долго ему еще это сносить. Только он собирался отойти с коротким поклоном и таким образом дать понять, что считает свое предложение отвергнутым, как Лоренци, по-прежнему безмолвно, неторопливо опустил правую руку в задний карман мундира и протянул ключ от садовой калитки Казанове, который, как и прежде, готовый к любой неожиданности, отступил на шаг, как бы с намерением пригнуться. Некоторое проявление испуга, обнаружившееся в движении Казановы, вызвало на губах у Лоренци мимолетную язвительную усмешку. Казанова сумел подавить и даже скрыть нараставшую в нем ярость, взрыв которой мог бы все погубить, и, взяв с легким поклоном ключ, заметил только:

— По-видимому, я должен принять это за согласие. Через час—тем временем вы успеете

сговориться с Марколиной — я жду вас в башне, где позволю себе тотчас же вручить вам две тысячи дукатов в обмен на ваш плащ: во-первых, в знак моего доверия и, во-вторых, потому, что я действительно не знаю, куда ночью спрятать золото.

Они расстались, не поклонившись. Лоренци вернулся назад прежней дорогой, Казанова пошел другой в деревню, где, не поскупившись на задаток, нанял на постоялом дворе экипаж, который должен был ждать его в десять часов вечера перед домом Оливо, чтобы доставить в Мантую.

Вскоре после этого Казанова, предварительно спрятав золото в надежное место у себя в комнате, вышел в сад, где взору его представилась картина, сама по себе ничуть не примечательная, но странно его растрогавшая в том душевном состоянии, в каком он в ту минуту находился. У края лужайки на скамье рядом с Амалией сидел Оливо, обняв ее рукой за плечи; у их ног расположились, словно устав от игр, три девочки; младшая, Мария, казалось, дремала, положив головку на колени матери, около нее лежала, вытянувшись на траве и закинув руки за голову, Нанетта; Терезина прислонилась к коленям отца, который нежно перебирал пальцами ее локоны; когда Казанова подошел, она встретила его не похотливым и понимающим взглядом, какого он невольно ждал, а открытым и по-детски доверчивым, словно то, что произошло между ними всего несколько часов назад, было лишь ничего не значащей игрой. Лицо Оливо просияло радостью; Амалия сердечно и благодарно кивнула Казанове.

Оба они встретили его как человека—это было для него несомненно,—который совершил только что благородный поступок, но в то же время надеется, что из чувства деликатности никто не обмолвится об этом ни словом.

— И вы в самом деле уже завтра намерены покинуть нас, дорогой шевалье?—спросил Оливо.

— Не завтра,—ответил Казанова,—а, как я уже говорил, сегодня вечером.

И когда Оливо хотел ему возразить, он продолжал, пожав с сожалением плечами:

— Письмо, полученное мною сегодня из Венеции, не оставляет мне иного решения. Присланное мне приглашение настолько почетно со всех сторон, что отложить приезд—значило бы проявить величайшую, даже непростительную неучтивость к моим высоким покровителям.

И он тут же попросил позволения удалиться в свою комнату, чтобы сейчас же приготовить к отъезду, после чего сможет спокойно провести последние часы своего пребывания здесь в кругу гостеприимных друзей.

Не поддаваясь ни на какие уговоры, Казанова направился в дом, поднялся по лестнице в башню и прежде всего сменил свое парадное платье на более простое, удобное для путешествия. Затем он уложил вещи в чемодан и с возраставшим с каждой минутой нетерпением стал прислушиваться, не раздадутся ли наконец шаги Лоренци. Еще до назначенного часа в дверь отрывисто постучали, и в широком синем кавалерийском плаще вошел Лорен-

ци. Не говоря ни слова, он слегка повел плечами, и плащ, скользнув, упал между обоими мужчинами на пол в виде бесформенного куска материи. Казанова вытащил из-под лежавшего на кровати тюфяка золото и рассыпал монеты по столу. Тщательно их пересчитав на глазах у Лоренци, что было сделано довольно быстро, так как многие монеты были большего достоинства, чем один дукат, Казанова вручил Лоренци условленную сумму, предварительно вложив ее в два кошелька, после чего у него осталось еще около ста дукатов. Лоренци сунул кошельки в карманы мундира и хотел уже безмолвно удалиться, но Казанова его остановил:

— Подождите, Лоренци. Нам, может быть, еще случится когда-нибудь встретиться в жизни. Пусть же встреча наша будет без злобы. Это была такая же сделка, как и всякая другая; мы с вами квиты.

Он протянул Лоренци руку. Тот не взял ее и только теперь произнес первое слово.

— Не припоминаю,— сказал он,— чтобы и это входило в наш договор.— Он повернулся и вышел.

«Вот мы как точны, друг мой!— подумал Казанова.— Тем более я могу быть уверен, что не окажусь в конце концов в дураках». Правда, он ни на минуту всерьез не допускал такой возможности; он знал по опыту, что такие люди, как Лоренци, обладают своеобразной честью, законы которой нельзя расписать по статьям, хотя в соблюдении их в каждом отдельном случае вряд ли можно сомневаться.

Казанова положил плащ Лоренци сверху в чемодан и закрыл его; оставшиеся золотые

монеты сунул в карман, осмотрелся вокруг в комнате, порога которой он, конечно, никогда больше не переступит, и, готовый к отъезду, при шпаге и в шляпе, спустился в залу, где Оливо с женой и детьми уже сидели за накрытым столом. Одновременно с Казановой из сада в противоположную дверь вошла Марколина, что показалось ему добрым предзнаменованием, и ответила на его поклон неприкрытым кивком головы. Подали кушанье. Разговор вначале не клеился, словно ему мешали мысли о предстоящей разлуке. Амалия казалась слишком поглощенной детьми и все время следила за тем, как бы у них на тарелках не было слишком много или слишком мало еды. Оливо, без всякой надобности, принялся рассказывать о какой-то незначительной, решенной в его пользу тяжбе с соседом, а также о своей предполагаемой деловой поездке в Мантую и Кремону. Казанова выразил надежду на то, что в недалеком будущем он сможет приветствовать своего друга в Венеции. По странной случайности, Оливо там еще никогда не бывал. Амалия видела этот чудесный город много лет назад, в детстве; как она туда попала, она уже не помнит. Запомнился ей только какой-то старик в ярком красном плаще, который вышел из длинной черной гондолы и, споткнувшись, растянулся во весь рост.

— Вы тоже не бывали в Венеции? — спросил Казанова Марколину, сидевшую как раз против него и смотревшую поверх его плеча в густую темноту сада. Она молча покачала головой. И Казанова подумал: «Если бы только я мог показать тебе город, где я был молод! О,

если бы ты была молода в одно время со мной...»

И у него родилась еще одна мысль, еще более безрассудная: «Не взять ли мне тебя сейчас с собой?» И в то время как все эти невысказанные мысли проносились в голове Казановы, он заговорил о городе своей молодости с легкостью, свойственной ему даже в минуты сильнейшего душевного волнения, — сначала так искусно и холодно, словно писал картину, но вскоре, непроизвольно взяв более теплый тон, обратился к истории своей собственной жизни и вдруг сам занял главное место в картине, и она только теперь ожила и засияла. Он рассказывал о своей матери, знаменитой актрисе, для которой великий Гольдони, ее поклонник, написал свою замечательную комедию «Воспитанница», об унылых годах своего пребывания в пансионе скупого доктора Гоцци, о своей детской любви к маленькой дочери садовника, потом спутавшейся с лакеем, о своей первой проповеди, когда он стал молодым аббатом, после которой он нашел в сумке ризничего, кроме пожертвованных денег, еще несколько нежных записочек, о дерзких проказах в масках и без масок, совершенных им вместе с другими такими же озорниками-товарищами в переулках, в кабачках, в танцевальных и игорных залах Венеции в бытность его скрипачом в театре Сан-Самуэле. Но об этих дерзких, а порой и предосудительных проделках Казанова повествовал, не произнося ни единого непристойного слова, — напротив, даже как-то поэтически-просветленно, точно считаясь с присутствием детей, которые, как и все остальные,

не исключая и Марколины, слушали его затаив дыхание. Но время шло, и Амалия отправила дочерей спать. На прощание Казанова нежно расцеловал всех троих, Терезину так же, как и двух младших, и взял с них обещание, что вскоре они приедут к нему в Венецию вместе с родителями. Когда дети ушли, он, разумеется, стал меньше стесняться в выражениях, но обо всем рассказывал без малейшей двусмысленности, а главное, без малейшего тщеславия, и можно было скорее подумать, что слушаешь повесть о любви сентиментального простака, нежели опасного и необузданного соблазнителя и искателя приключений. Он рассказывал о чудесной незнакомке, которая целыми неделями разъезжала с ним, переодетая офицером, и однажды внезапно исчезла; о дочери занимавшегося сапожным ремеслом дворянина в Мадриде, которая — между двумя объятиями — всякий раз старалась обратить его в набожного католика; о прекрасной еврейке Лии в Турине, которая сидела на лошади лучше любой княгини; о невинной и прелестной Манон Баллетти, единственной женщине, на которой он чуть было не женился; о той безголосой певице в Варшаве, которую он освистал, после чего ему пришлось драться на дуэли с ее любовником, генералом Браницким, и бежать из Варшавы; о злой Шарпийон, так подло надсмевшейся над ним в Лондоне; о поездке в бурную ночь, чуть было не стоившей ему жизни, по лагунам в Мурано к боготворимой им монахини; об игроке Кроче, который, проиграв в Спа целое состояние, со слезами на глазах простился с ним на большой дороге и пустился в путь в Петер-

бург, как был — в шелковых чулках и в яблочного цвета бархатном камзоле, с бамбуковой тростью в руке. Он рассказывал об актрисах, певицах, модистках, графинях, танцовщицах, камеристках; об игроках, офицерах, князьях, посланниках, финансистах, музыкантах и авантюристах; и таким чудесным показалось ему охватившее его вновь очарование прошлого, таким полным было торжество блистательно прожитого, но безвозвратно минувшего над жалким и призрачным настоящим, хвастливо выставляющим себя напоказ, что он уже собирался рассказать историю милостивой бледной девушки, поведавшей ему в сумраке церкви в Мантуе о своей несчастной любви, совсем не думая о том, что эта девушка, состарившаяся на шестнадцать лет и ставшая женой его друга Оливо, сидит против него здесь за столом; но тут грузными шагами в комнату вошла служанка и доложила, что карета стоит у ворот. Казанова немедленно поднялся и стал прощаться. Наделенный несравненным даром и во сне и наяву немедленно найтись, он обнял Оливо, который так растрогался, что не мог вымолвить ни слова, и еще раз сердечно пригласил навестить его в Венеции вместе с женой и детьми. Когда Казанова с таким же намерением приблизился к Амалии, она слегка отстранилась и лишь подала ему руку, которую он почтительно поцеловал. Когда он затем повернулся к Марколине, она сказала:

— Все, что вы нам рассказали сегодня вечером, и еще многое другое вы должны были бы записать, шевалье, так же, как вы описали свой побег из-под свинцовых крыш.

— Вы серьезно это думаете, Марколина? — спросил он с робостью молодого автора. Она улыбнулась с легкой насмешкой:

— Мне кажется, что такая книга могла бы оказаться гораздо занимательнее, чем ваш памфлет против Вольтера.

«Это, может быть, верно, — подумал Казанова, но ничего не сказал. — Как знать, не последую ли я когда-нибудь твоему совету? И тебе, Марколина, будет посвящена последняя глава». Эта внезапная мысль и еще более мысль о том, что наступающей ночью он переживет эту последнюю главу, зажгли его взгляд таким странным огнем, что Марколина отняла у него руку, поданную ему на прощание, еще прежде, чем он, склонившись, успел ее поцеловать. Ничем не проявив своего разочарования или, может быть, досады, Казанова двинулся к выходу, дав понять ему одному свойственным ясным и простым жестом, чтобы никто, даже Оливо, его не провожал.

Быстрым шагом прошел он каштановую аллею, дал золотой служанке, поставившей в карету его чемодан, сел и уехал.

Небо заволокло тучами. Когда деревня, где в маленьких оконцах там и сям еще мерцал огонек, осталась позади и в ночной тьме светил только подвешенный спереди к дышлу желтый фонарь, Казанова открыл стоявший у него в ногах чемодан, вынул плащ Лоренци и, накинув его на себя, осторожно разделся. Снятую одежду, башмаки и чулки он запер в чемодан и плотнее завернулся в плащ. Потом окликнул возницу:

— Эй, нам придется вернуться!

Кучер досадливо обернулся.

— Я забыл в доме свои бумаги. Слышишь? Поворачивай обратно.— И, видя, что тот — худой, ворчливый старик с седой бородой — как будто колеблется, добавил: — Разумеется, я не требую этого бесплатно. Вот, возьми! — И Казанова сунул ему в руку дукат.

Возница кивнул головой, что-то проворчал и, без всякой надобности ударив кнутом по лошадям, повернул карету. Когда они опять проезжали через деревню, все дома были погружены в безмолвие и темноту. Проехав еще часть пути по большой дороге, кучер хотел свернуть на узкую, слегка поднимающуюся в гору дорогу к поместью Оливо.

— Стой! — крикнул Казанова. — Лучше не подъезжать так близко к дому, не то мы всех разбудим. Подожди здесь, на углу. Я скоро вернусь... А если немного задержусь, то за каждый лишний час — дукат!

Теперь кучер уже смекнул, в чем дело; Казанова понял это по тому, как он кивнул головой. Казанова вышел из кареты и, вскоре скрывшись из виду, быстро прошел мимо запертых ворот вдоль стены до того места, где она поворачивала под прямым углом наверх, и там свернул на тропинку через виноградник, которую легко отыскал, так как дважды проходил по ней при свете дня. Он держался стены, не отклоняясь от нее даже тогда, когда она приблизительно на середине холма опять повернула под прямым углом. Теперь он шел по мягкому лугу в непроглядном мраке ночи, пристально всматриваясь в потемки, чтобы не пройти мимо садовой калитки. Он все время нащупывал рукой гладкую каменную ограду,

пока не коснулся пальцами шершавого дерева калитки, после чего ему удалось различить очертания узкой двери. Быстро найдя замочную скважину, он всунул в нее ключ, отпер дверь, вошел в сад и запер ее за собой. По ту сторону лужайки перед ним в неправдоподобной дали стоял неправдоподобно высокий дом с башней. Он ненадолго остановился, чтобы осмотреться, ибо мрак, непроницаемый для всякого другого, был для Казановы лишь густыми сумерками. Вместо того чтобы идти дальше по аллее, где его босым ногам было больно ступать по гравию, он отважился свернуть на траву, заглушавшую звук его шагов. Ему казалось, будто он летит, так легка была его походка.

«Когда в былые времена — в тридцать лет — я пробирался такими путями, разве чувства мои были иными? — подумал он. — Разве по жилам моим бежит не тот же огонь желания и не те же соки юности? Разве я и теперь не тот же Казанова, каким был тогда?.. А если я — Казанова, то мною должен быть посрамлен жалкий закон, именуемый старостью, которому подчинены другие! — И, становясь все смелее, он спросил себя: — Зачем я крадусь к Марколине под маской? Разве Казанова не лучше Лоренци, даже если он на тридцать лет старше? И разве она не женщина, способная постигнуть непостижимое?.. К чему мне было совершать эту мелкую подлость и подбивать другого на большую? Разве, проявив немного терпения, я не достиг бы той же цели? Завтра Лоренци уезжает, а я бы остался... Пять дней... три дня — и она была бы моей, была б моей, зная об этом».

Он стоял, прижавшись к стене, под окном Марколины, которое было еще наглухо закрыто, а мысли его неслись дальше. «Но ведь и теперь еще не поздно! Я мог бы возвратиться — завтра, послезавтра... и приступить к делу оболыщения, так сказать, как честный человек. Нынешняя ночь была бы залогом будущих. Никогда бы Марколина не узнала, что это я сегодня был у нее... разве что позже, много позже».

Окно все еще было наглухо заперто. Из комнаты не доносилось ни звука. До полуночи, по-видимому, оставалось еще несколько минут. «Не дать ли как-нибудь знать о своем приходе? Тихонько стукнуть в окно? Такого уговора не было, и это может только возбудить у Марколины подозрение. Остается ждать. Теперь уже недолго». Мысль, что она может сразу его узнать и раскрыть обман прежде, чем он совершится, уже не раз приходила в голову Казанове, но, как и раньше, уже бегло, как естественное и разумное предположение маловероятной возможности, а не как серьезное опасение. Ему припомнилось одно несколько комическое приключение двадцатилетней давности — восхитительная ночь, которую он провел в Золотурне с уродливой старухой, будучи уверен, что ему принадлежит боготворимая прекрасная и молодая женщина; и на следующий день она еще вдобавок высмеяла в бессовестном письме его весьма приятное для нее заблуждение, подстроенное ею с мерзкой хитростью. При воспоминании об этом он содрогнулся от отвращения. Как раз об этом лучше сейчас не думать, и он прогнал всплывшую перед ним гнусную картину. Неужели

еще не наступила полночь? Сколько он тут еще простоит, прижавшись к стене и дрожа от ночной прохлады? И не тщетно ли? Не надуют ли его, несмотря ни на что? Выбросить зря две тысячи дукатов! Не стоит ли за занавесью вместе с нею Лоренци? И потешается над ним? Казанова невольно крепче стиснул рукою шпагу, которую держал под плащом, прижав к нагому телу. «От такого молодца, как Лоренци, в конце концов можно ждать самого скверного сюрприза. Но тогда...» В это мгновение он услышал легкий шум и понял, что на окне Марколины отодвигается решетка, после чего сразу широко распахнулись обе его створки, но занавесь еще оставалась задернутой. Еще несколько секунд Казанова не шевелился, пока отодвинутая невидимой рукой занавесь не поднялась с одного края; по этому знаку Казанова перемахнул через подоконник в комнату и сразу закрыл за собой окно и задвинул его решеткою. Приподнятая занавесь упала, окутав его плечи, так что ему пришлось из-под нее выбираться, и он очутился бы в полной тьме, если бы из глубины комнаты, в не постижимой дали, не показало ему путь тусклое мерцание, словно пробужденное его взглядом. Всего три шага — страстно ищущие руки простерлись к нему; он выпустил из рук шпагу, уронил с плеч плащ и отдался своему счастью.

По стонам Марколины, по слезам блаженства, которые он осушал поцелуями на ее щеках, по жару, с каким она принимала его ласки, он вскоре понял, что она делит его восторги, казавшиеся ему более высокими, даже совсем иными, чем те, которые он когда-либо изведal. Наслаждение стало молитвой, глубокое упо-

ение — ни с чем не сравнимой просветленностью. Здесь, на груди Марколины, наконец сбылось то, что он так часто в безрассудстве своем считал пережитым, но чего в действительности никогда не пережил, — воплощение мечты. Держа в своих объятиях эту женщину, он, расточая себя, чувствовал свою неисчерпаемость; мгновения последних ласк и нового желания сливались на ее груди в единое мгновение никогда не изведенного блаженства. Жизнь и смерть, время и вечность — не сплетаются ли они воедино на этих устах? Не бог ли он? Не басня ли юность и старость, придуманная людьми? А родина и чужбина, блеск и нищета, слава и безвестность? Не пустые ли это различия на потребу беспокойных, одиноких, тщеславных людей, теряющие смысл, когда ты — Казанова и нашел Марколину? С каждой минутой ему казалось все более недостойным, даже смешным, остаться верным своему малодушно принятому решению — безмолвно, как вор, бежать неузнанным от очарования этой ночи. Безошибочно чувствуя, что он в той же мере дарит счастье, как и дарим счастьем, он уже решился назвать свое имя, хотя все еще сознавал, что в этой крупной игре, которую он может и проиграть, ставит на карту жизнь. Вокруг все было еще погружено в непроницаемую тьму, и пока сквозь плотную занавесь не пробьется первый луч рассвета, он может еще медлить с признанием, которое — в зависимости от того, как Марколина примет его, — решит его судьбу, даже жизнь. Но разве это немое, самозабвенно-сладостное свидание с каждым поцелуем не связывает Марколину с ним все более и более неразрывно? Разве то, что

было сперва обманом, не стало правдой в неизъяснимых восторгах этой ночи? Да разве ее, обманутую, любимую, единственную, уже не охватило предчувствие, что с нею не Лоренци, не юноша, не повеса, а Мужчина, что это Казанова сжигает ее своим божественным жаром? Ему уже начинало казаться, что его вообще минет желанное, но все еще страшное мгновение признания; он мечтал, что Марколина сама, дрожащая, плененная, освобожденная, шепнет ему его имя. И после того, как она тем самым его простит... нет, получит его прощение... тогда он возьмет ее с собой, немедленно, еще в этот час; в сером сумраке рассвета покинет вместе с нею этот дом, сядет в нею в карету, ожидающую у поворота... уедет с нею, удержит ее навсегда, увенчает дело своей жизни тем, что в годы, когда другие готовятся к хмурой старости, покорит безмерной властью своей неугасимой души самую юную, самую прелестную, самую умную и навеки сделает ее своей. Ибо она принадлежала ему, как ни одна женщина до нее. Он уже скользил вместе с нею по таинственным узким каналам среди дворцов, под сенью которых чувствовал себя опять дома, под арками мостов, по которым в тумане сновали темные фигуры людей; некоторые из них кланялись им оттуда через перила и опять исчезали, прежде чем он успевал их рассмотреть. Но вот гондола причалила; мраморные ступени ведут в роскошный дом сенатора Брагадино; один только этот дом празднично освещен; гости в маскарадных костюмах спускаются вниз и вверх по лестнице, многие с любопытством останавливаются. Но кто может узнать под масками Казанову и

Марколину? Он входит с нею в зал. Здесь идет крупная игра. Все сенаторы, среди них и Брагадино, в красных мантиях, сидят у стола. Когда вошел Казанова, все они, точно в испуге, прошептали его имя; они узнали его по молниям его глаз, сверкнувшим из-под маски. Он не сел за стол, не взял карт, но принял участие в игре. И выигрывал, выиграл все лежавшее на столе золото, но этого мало; сенаторы должны были выдать ему векселя; они проиграли свои состояния — свои дворцы, свои пурпурные мантии, они стали нищими и в лохмотьях ползали у его ног, целуя его руки, а рядом в темно-красном зале играла музыка, там танцевали. Казанова хотел танцевать с Марколиной, но она исчезла. Сенаторы в своих пурпурных мантиях, как и прежде, сидели за столом; но Казанова знал, что это не карты, а люди, обвиняемые, преступники и невиновные, судьба которых должна решиться. Но где Марколина? Ведь он все время сжимал ее запястье? Он бросился вниз по лестнице, гондола ждала его... Скорее, скорее сквозь путаницу каналов, гребец, конечно, знал, где Марколина; но почему также и он в маске? Раньше это не было принято в Венеции. Казанова хотел потребовать у него объяснений, но не смел. Неужели, старея, делаешься таким трусом? Все дальше и дальше... Каким гигантским городом стала Венеция за эти двадцать пять лет! Дома наконец расступаются, каналы расширяются, они скользят между островов, вот высятся стены монастыря Мурано, куда скрылась Марколина. Гондола исчезла, теперь надо плыть, — как это приятно! Дети, наверное, играют теперь в Венеции его золотыми монетами; но что

ему золото?.. Вода то теплая, то прохладная; она каплет с его одежды, когда он взбирается на стену. «Где Марколина?» — спрашивает он в приемной громко, во весь голос, как вправе спросить только государь. «Я позову ее», — отвечает герцогиня-настоятельница и исчезает. Казанова ходит, летает, порхает у прутьев решетки, как летучая мышь. «Если бы я только знал раньше, что умею летать! Я научу Марколину летать!» За решеткой скользят женские фигуры. Монахини... но все в мирском платье. Он это знает, хотя совсем не видит их, и знает также, кто они. Вот Генриетта, незнакомка, и танцовщица Кортичелли, и Кристина, невеста, и красавица Дюбуа, и проклятая старуха из Золотурна, и Манон Баллетти... и сотни других, только Марколины нет среди них! «Ты меня обманул!» — кричит он гребцу, ожидающему внизу в гондоле; он чувствует к этому человеку такую ненависть, какой не испытывал ни к кому, и клянется утонченно ему отомстить. Но не глупо ли было искать Марколину в монастыре Мурано? Ведь она уехала к Вольтеру. Как хорошо, что он умеет летать, ему уже нечем уплатить за карету. И он уплывает прочь; но это теперь вовсе не так приятно, как ему казалось раньше; холодно, и становится все холоднее, его носит в открытом море, далеко от Мурано, далеко от Венеции — вокруг ни одного корабля, тяжелое, шитое золотом платье тянет его ко дну; он пытается освободиться, но это невозможно, потому что в руке у него рукопись, которую он хочет передать господину Вольтеру. Вода попадает ему в рот, в нос, его охватывает смертельный страх; он старается ухватиться за что-нибудь руками,

хрипит, вскрикивает и с трудом открывает глаза.

Сквозь узкую щель между занавесью и краем окна пробивался луч рассвета. Марколина в своем белом ночном платье, придерживая его обеими руками на груди, стояла в ногах кровати, устремив на Казанову взгляд, полный невыразимого отвращения, который сразу прогнал его сон. Невольно, точно с мольбой, он простер у ней руки. Марколина в ответ подняла левую руку, как бы его отталкивая, правой еще судорожнее сжимая на груди платье. Казанова слегка приподнялся, опираясь обеими руками о постель, и смотрел на Марколину. Он не мог отвести от нее глаз, так же как она от него. В его взоре были ярость и стыд, в ее — стыд и ужас. И Казанова знал, каким она видит его; ибо видел себя как бы в воображаемом зеркале, как вчера у себя в комнате: желтое злое лицо, изборожденное глубокими морщинами, с тонкими губами, колючими глазами, вдобавок измученное излишествами минувшей ночи, предутренним кошмаром, сознанием ужасной действительности при пробуждении. И он прочел во взгляде Марколины совсем не то, что тысячу раз предпочел бы в нем прочесть: вор, развратник, негодяй; нет, он прочел в нем только одно слово, сразившее его бóльшим позором, чем могли бы сразить любые оскорбления, — он прочел слово, изо всех слов самое страшное... это был его окончательный приговор: «Старик!» Будь он в это мгновение в силах каким-нибудь волшебством себя уничтожить, он бы это сделал, чтобы только не быть вынужденным на глазах у Марколины выбираться из-

под одеяла в своей наготе, которая должна была показаться ей отвратительнее, чем вид какого-нибудь мерзкого животного. Но она, постепенно приходя в себя и, по-видимому, чувствуя, что ему надо поскорее дать возможность совершить неизбежное, отвернулась лицом к стене, и он воспользовался этой минутой, чтобы встать с постели, поднять с пола плащ и закутаться в него. Он немедленно подобрал также и свою шпагу, и тут ему показалось, что он, по крайней мере, уже избежал худшего позора — быть смешным, и он подумал о том, как бы удачным словом, в которых никогда не испытывал недостатка, изобразить в другом свете все это, столь печальное для него, приключение и даже как-нибудь попытаться обратить его в благоприятную для себя сторону. В том, что Лоренци продал ее Казанове, у Марколины — если судить по положению вещей — сомнения быть не могло; но какую глубокую ненависть ни внушал ей сейчас этот презренный негодяй, Казанова чувствовал, что сам он, трусливый вор, был ей в тысячу раз ненавистнее. Быть может, его могло бы удовлетворить нечто другое: унижить Марколину пересыпанной намеками язвительно-бесстыдной речью; но и этот злобный замысел рухнул под взглядом Марколины, в котором выражение ужаса постепенно превратилось в выражение безмерной печали, словно Казанова не только надругался над женщиной Марколиной, — нет, словно этой ночью было совершено преступление, которому нет имени и искупления: преступление хитрости против доверчивости, похоти против любви, старости против молодости. Казанова отвернулся под

этим взглядом, который, причиняя ему величайшую муку, вновь оживил на мгновение все то, что было еще в нем доброго; ни разу больше не оглянувшись на Марколину, он подошел к окну, отдернул занавесь, открыл окно и решетку, окинул взглядом сад, еще спящий в предрассветных сумерках, и выпрыгнул наружу. Опасаясь, что в доме кто-нибудь уже проснулся и может заметить его, Казанова не пошел по лужайке, а углубился в темноту аллеи. Он вышел через калитку из сада и едва успел запереть ее за собой, как кто-то двинулся ему навстречу и преградил путь. Гребец... было первой его мыслью. Ибо теперь он вдруг понял, что гондольером его сновидения был не кто иной, как Лоренци. И вот Лоренци стоял перед ним. Его красный мундир с серебряными шнурами ярко горел при свете брезжущего утра. «Какая великолепная форма! — пронеслось в расстроенном и усталом мозгу Казановы. — На вид она новая. И за нее, конечно, не уплачено...» Эти трезвые размышления заставили его окончательно опомниться, и, отдав себе отчет в положении, он почувствовал радость. Приняв гордую позу, он крепче сжал под плащом рукоять шпаги и сказал самым любезным тоном:

— Не находите ли вы, синьор лейтенант Лоренци, что эта мысль явилась у вас несколько поздно?

— Нисколько, — возразил Лоренци, в эту минуту он был прекраснее всех виденных когда-нибудь Казановой людей, — ибо только один из нас уйдет отсюда живым.

— Вы слишком торопитесь, Лоренци, — сказал Казанова почти мягко. — Не отложить ли

нам это, по крайней мере, до Мантуи? Для меня будет честью доставить вас туда в своей карете. Она ждет у поворота. И не лучше ли было бы соблюсти правила... Именно в нашем случае.

— Это не требуется. Вы или я, Казанова, и незамедлительно.— Он обнажил шпагу. Казанова пожал плечами.

— Как вам угодно, Лоренци. Но мне хотелось бы напомнить вам, что я, к сожалению, принужден драться в совершенно неподобающем платье.— Он распахнул плащ и стоял обнаженный, играя шпагой. Волна ненависти поднялась в глазах Лоренци.

— Я не воспользуюсь своим преимуществом,— сказал он и начал поспешно сбрасывать с себя одежду.

Казанова отвернулся и в ожидании опять закутался в плащ, ибо, несмотря на солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь утренний туман, ощущал резкую прохладу. На траве лежали длинные тени деревьев, росших кое-где на вершине холма. У Казановы мелькнула мысль — вдруг кто-нибудь пройдет мимо? Но тропинкой, которая шла вдоль стены к садовой калитке, пользовались только Оливо и его домочадцы. Казанове пришло в голову, что, быть может, это последние минуты его жизни, и он изумился своему полному спокойствию. Господину Вольтеру везет, подумал он мельком; но, в сущности, Вольтер был ему совершенно безразличен, и в этот час ему бы хотелось вызвать в своей душе более милые образы, чем противное птичье лицо старого писаки. Не странно ли, что по ту сторону ограды на вершинах деревьев не поют птицы? Должно, быть,

погода переменится. Но что ему до погоды? Лучше вспоминать Марколину, блаженство, которое он вкусил в ее объятиях и за которое теперь должен дорого заплатить. Дорого? Ничуть! Несколькими годами прозябания старика в нищете и унижении... Что оставалось ему еще совершить в жизни?.. Отравить синьора Брагадино? Стоило ли это труда? Ничто не стоит труда... Как редко растут деревья там наверху! Он начал их считать. Пять... семь... десять — неужели нет ничего поважнее, о чем следовало бы подумать?..

— Я готов, шевалье!

Казанова быстро обернулся. Перед ним стоял Лоренци, прекрасный в своей наготе, как молодой бог. Все низменное погасло в его лице, он казался одинаково готовым и убить и умереть. «Не бросить ли шпагу? — подумал Казанова. — Не обнять ли его?» Плащ соскользнул с плеча, и, подобно Лоренци, он стоял нагой и тонкий. Лоренци, салютуя по правилам фехтования, опустил шпагу. Казанова ответил таким же салютом; еще мгновение — и клинки скрестились и на стали заиграл, сверкая, серебряный утренний свет. «Когда, — подумал Казанова, — стоял я в последний раз перед противником со шпагой в руке?» Но не мог припомнить ни одной из своих серьезных дуэлей, а только упражнения в фехтовании, которыми он еще десять лет назад часто занимался со своим камердинером Костой, мошенником, удравшим от него впоследствии со ста пятьюдесятью тысячами лир. «А все же он был превосходным фехтовальщиком; да и я несколько не разучился! У меня верная и легкая рука и такой же острый глаз, как

прежде. Молодость и старость — какая выдумка! — подумал он. — Не бог ли я? Не боги ли мы оба? Если бы кто-нибудь мог нас сейчас увидеть! Нашлись бы дамы, которые дорого бы дали, чтобы взглянуть на это». Сгибались лезвия, мелькали острия; каждый раз, при соприкосании клинков, в утреннем воздухе раздавался тихий певучий звон. Бой? Нет, турнир... Почему такое отчаяние во взоре, Марколина? Разве мы оба не достойны твоей любви? Он молод, но ведь я — Казанова!.. И тут Лоренци упал, пронзенный прямо в сердце. Шпага выпала из его руки, он, словно в изумлении, широко открыл глаза, приподнял еще раз голову, губы его болезненно искривились, голова поникла, ноздри затрепетали, раздался тихий хрип, и он умер. Казанова наклонился к нему, стал около него на колени, увидел несколько капель крови, сочившейся из раны, и поднес руку ко рту сраженного; дыхание жизни ее не коснулось. Холодная дрожь пробежала по телу Казановы. Он встал и накинул на себя плащ. Затем подошел к трупу и взглянул на тело юноши, в несравненной красоте распростертое на траве. В тишине послышался легкий шелест, это утренний ветерок пронесся в вершинах деревьев по ту сторону садовой ограды. «Что делать? — спросил себя Казанова. — Позвать людей? Оливо? Амалию? Марколину? Зачем? Его уж не оживит никто!» Он размышлял с хладнокровной рассудительностью, которая всегда была ему свойственна в опаснейшие минуты жизни.

«Пока его найдут, может пройти несколько часов, пожалуй, до вечера, даже дольше. До

тех пор я выиграю время, а это важнее всего». Он все еще держал в руке шпагу, увидел блеснувшую на ней кровь и обтер ее травой. У него явилась мысль одеть труп, но это заставило бы его потерять невозвратимые, драгоценные минуты. словно принося мертвецу последнюю жертву, он еще раз нагнулся и закрыл ему глаза. «Счастливец», — проговорил он про себя и, словно в мечтательном оцепенении, поцеловал убитого в лоб. Потом, быстро поднявшись, поспешно пошел вдоль стены, завернул за угол и спустился на дорогу. Карета стояла на перекрестке, там, где он ее оставил, кучер крепко спал на козлах. Казанова постарался не будить его, сел с необычайной осторожностью в карету и только тогда крикнул, толкнув его в спину:

— Эй! Поедем ли мы наконец?

Возница вздрогнул, осмотрелся вокруг, удивился, что стало уже совсем светло, ударил по лошадям, и карета покатила прочь. Казанова откинулся глубоко назад, завернутый в плащ, принадлежавший когда-то Лоренци. На деревенской улице они увидели только детей; все мужчины и женщины, по-видимому, были уже в поле, на работе. Когда деревня осталась позади, Казанова облегченно вздохнул, открыл чемодан, вынул свое платье и стал одеваться под плащом, не без опасения, как бы кучер, оглянувшись, не заметил странного поведения седока. Но ничего подобного не случилось. Казанове удалось без помехи одеться, спрятать в чемодан плащ Лоренци и накинуть свой. Он взглянул на небо, которое тем временем заволочли тучи. Казанова не чувствовал никакого утомления, наоборот, он был как-то

особенно напряжен и бодр. Обдумав свое положение и взвесив его со всех сторон, он пришел к выводу, что хотя оно и внушает некоторую тревогу, но не так уж опасно, как могло бы показаться более робким людям. Что в убийстве Лоренци могут сразу заподозрить его, конечно, вполне вероятно, но ни для кого не может быть сомнения, что это произошло в честном поединке, более того: Лоренци напал на него и принудил его к дуэли, а то, что он защищался, никто не может вменить ему в вину. Но почему он оставил его на траве, как мертвую собаку? Однако в этом тоже никто не вправе его упрекать: быстрое бегство было его законным правом, даже долгом. Лоренци поступил бы точно так же. Но не выдаст ли его Венеция? Тотчас же по приезде станет он под защиту своего покровителя, Брагадино. Но не сознается ли он тем самым в деянии, которое в конце концов могло бы остаться нераскрытым или быть приписанным другому? Есть ли вообще против него какие-нибудь улики? Разве его не отозвали в Венецию? Кто вправе говорить, что это — бегство? Уж не возница ли, полночи прождавший его на дороге? Ему можно заткнуть рот еще несколькими золотыми. Такие мысли кружились в голове Казановы. Вдруг ему послышался конский топот за спиной. «Уже?» — было его первой мыслью. Он вынул голову в окно кареты и посмотрел назад — дорога пуста. Они проезжали мимо какой-то усадьбы; это был отзвук топота их лошадей. Эта ошибка на некоторое время настолько его успокоила, точно для него навсегда миновала всякая опасность. Вот уже

высятся башни Мантуи... «Скорее, скорее», — пробормотал про себя Казанова, совсем не желая, чтобы кучер слышал его. Но тот, приближаясь к цели, по собственному побуждению стал погонять лошадей; вот они уже у ворот, через которые Казанова вместе с Оливо покинул город менее двух суток назад. Он назвал вознице гостиницу, где надо было остановиться; через несколько минут показалась вывеска с золотым львом, и Казанова выскочил из кареты. В дверях стояла хозяйка; свежая, со смеющимся лицом, она, казалось, была вполне расположена оказать Казанове такой прием, какой оказывают возлюбленному, когда с нетерпением ждут его возвращения после огорчительной отлучки, но он указал сердитым взглядом на кучера как на докучливого свидетеля, а затем радушно предложил ему подкрепиться вволю едой и питьем.

— Вчера вечером для вас пришло письмо из Венеции, шевалье, — сказала хозяйка.

— Еще одно? — удивился Казанова и кинулся вверх по лестнице в свою комнату. Хозяйка последовала за ним. На столе лежало запечатанное письмо. Казанова вскрыл его в крайнем волнении.

«Неужели отмена?» — со страхом подумал он. Но когда он прочел письмо, лицо его просветлело. Там было всего несколько строк от Брагадино с приложением векселя на двести пятьдесят лир, дабы Казанове не пришлось отложить свой приезд хотя бы на один день, раз он принял такое решение. Казанова обратился к хозяйке и с притворно огорченным видом сообщил ей, что принужден, не медля ни

часу, ехать дальше, не то ему грозит опасность потерять должность, которую выхлопотал ему в Венеции его друг Брагадино, несмотря на то что ее добиваются еще сотни людей. Но, сразу добавил он, увидев грозные тучи на челе хозяйки, он хочет только обеспечить себе эту должность секретаря Венецианского Высшего Совета, получить на нее патент; затем, заняв ее и приобретя положение, он немедленно потребует отпуска для устройства своих дел в Мантуе, в чем ему, разумеется, не откажут; он ведь оставляет здесь большую часть своих пожитков... тогда, тогда только от его дорогой, от его восхитительной подруги будет зависеть, пожелает ли она передать свою гостиницу кому-нибудь другому и последовать за ним в Венецию как его супруга... Она бросилась к нему на шею с затуманившимися глазами и спросила, можно ли, по крайней мере, принести ему перед отъездом плотный завтрак. Понимая ее намерение устроить на прощание пиршество, которое ничуть не привлекало его, он все же согласился, чтобы наконец от нее отделаться; как только она спустилась по лестнице, он сунул в сумку самое необходимое — немного белья и несколько книг, направился в общую залу, где застал кучера за обильной трапезой, и спросил, согласен ли он выехать немедленно на тех же лошадях по направлению к Венеции и довезти его до ближайшей почтовой станции за плату, вдвое против обычной. Кучер сразу согласился, и таким образом Казанова избавился от главной своей заботы. Вошла хозяйка, побагровевшая от ярости, и спросила его, не забыл ли он, что его ждет в комнате

завтрак. Казанова самым непринужденным тоном ответил, что нисколько этого не забыл, и так как у него нет времени, просит ее сходить в банк, на который выдан его вексель, — он ей тут же его передал, — и получить двести пятьдесят лир. Пока она бегала за деньгами, Казанова отправился к себе в комнату и с истине звериной жадностью набросился на приготовленную еду. Продолжая есть и после появления хозяйки, он быстро сунул в карман принесенные деньги; покончив с завтраком, он повернулся к женщине, которая придвинулась к нему, считая, что наконец пришел ее час, и самым недвусмысленным образом раскрыла ему объятия, крепко ее обхватил, поцеловал в обе щеки, прижал к себе, а когда она была уже готова все ему позволить, вырвался от нее со словами: «Я должен ехать.. до свидания!» — с такой силой, что она упала навзничь в угол софы. Выражение ее лица — смесь разочарования, гнева и бессилия — было до того уморительным, что Казанова, закрывая за собой дверь, не в состоянии был удержаться и громко расхохотался.

От кучера не могло укрыться, что седок его очень спешит; размышлять о причинах такой торопливости он не был обязан; во всяком случае, когда Казанова вышел из дверей гостиной, он сидел на козлах, готовый тронуться в путь, и сильно стегнул лошадей, как только тот сел в карету. Кучер счел также более разумным ехать не по главным улицам, а обогнуть их, чтобы выбраться опять на большую дорогу в противоположном конце города.

Солнце стояло еще невысоко, до полудня оставалось три часа. Казанова думал: «Вполне

возможно, что мертвого Лоренци еще не нашли». Что Лоренци убил он, почти не доходило до его сознания; его лишь радовало, что расстояние, отделяющее его от Мантуи, непрерывно растет и что на некоторое время он наконец обретет покой... Он погрузился в самый глубокий в его жизни сон, который, можно сказать, продолжался два дня и две ночи, ибо краткие перерывы, которые поневоле вызывались необходимостью сменить лошадей, когда он сидел в залах постоянных дворов, прохаживался перед почтовыми станциями, обменивался ничего не значащими, случайными замечаниями с почтовыми смотрителями, трактирщиками, таможенными сторожами, путешественниками, не удержались в его памяти как отдельные события. И впоследствии воспоминание об этих двух днях и ночах слилось с приснившимся ему в постели Марколины сном, и поединок двух нагих противников на зеленом лугу при свете раннего утра как бы стал частью этого сна, в котором порою он каким-то загадочным образом был не Казановой, а Лоренци, не победителем, а сраженным, не беглецом, а умершим, чьим бледным юношеским телом одиноко играл утренний ветер; и оба они — и он сам, и Лоренци — были не более реальны, чем сенаторы в пурпурных мантиях, ползавшие перед ним, как нищие, на коленях, и не менее реальны, чем тот опиравшийся о перила моста старик, которому он в вечерних сумерках бросил из кареты милостыню. Если бы Казанова не умел отличать с помощью рассудка пережитое от пригрезившегося, то мог бы вообразить, будто погру-

зился в объятиях Марколины в странный сон, от которого пробудился только при виде венецианской кампанилы.

На третье утро своего путешествия из Местре, после двадцати лет тоски, Казанова впервые увидел колокольню: серое каменное строение, одиноко вырисовываясь во мгле, как бы поднялось перед ним из бесконечной дали. Но он знал, что теперь всего лишь два часа пути отделяют его от любимого города, где он когда-то был молод. Он расплатился с кучером, не помня, был ли то четвертый, или пятый, или шестой, с которым ему приходилось рассчитывать по выезде из Мантуи, и в сопровождении мальчика, тащившего его вещи, поспешил по убогим улицам в гавань, чтобы успеть на отправлявшееся к рынку судно, как и двадцать пять лет назад, отходившее в шесть часов утра в Венецию. Казалось, оно только его и ждало; едва он успел усесться на узкую скамейку между женщинами, которые везли в город свой товар, мелким торговым людом и ремесленниками, как оно отвалило; небо было пасмурное; над лагунами стоял туман; пахло затхлой водой, сырым деревом, рыбой и свежими плодами. Кампанила вздымалась все выше и выше, в воздухе вырисовывались и другие башни, виднелись церковные купола. Навстречу Казанове блеснул луч утреннего солнца, сначала с одной крыши, потом с другой, со многих; дома раздвигались, росли ввысь; из тумана выплывали большие и малые корабли, обменивались приветствиями; разговоры вокруг него стали громче; какая-то девочка предложила ему купить у нее виноград; он ел синие ягоды, выплевывая через борт кожицу по примеру

своих земляков, и вступил в разговор с каким-то человеком, который выразил радость по поводу того, что наконец, видимо, устанавливается хорошая погода. Как, здесь три дня шел дождь? Он этого не знал. Он приехал с юга — из Неаполя, из Рима... Судно плыло уже по каналам предместья, грязные дома глядели на Казанову своими мутными окнами, точно близорукими холодными глазами, два или три раза судно причаливало, на берег сходили какие-то молодые люди — один с большой папкой под мышкой, женщины с корзинами; теперь пошли более приветливые места. Не та ли это церковь, куда ходила к исповеди Мартина? И не тот ли это дом, где Казанова на свой манер постарался вернуть румянец и здоровье бледной, смертельно больной Агате? А вот в том он, кажется, отколотил до синяков плута, брата прелестной Сильвии? А там, в боковом канале, — маленький желтоватый домик, на его омываемых водой ступенях стоит босиком толстая женщина... Но не успел Казанова решить, какое ему отнести сюда событие далеких дней его молодости, как судно вошло в Канале Гранде и медленно поплыло дальше по широкому водному пути между дворцами. Сон Казановы вызвал в нем такое чувство, будто он всего лишь днем раньше уже совершил этот же путь. У моста Риальто он вышел на сушу, ибо, прежде чем отправиться к синьору Брагадино, он хотел оставить свой чемодан и снять комнату в находящейся неподалеку небольшой дешевой гостинице, местоположение которой он помнил, а название забыл. Дом показался ему более ветхим или, по

крайней мере, более запущенным, чем он представлял себе по памяти; угрюмый небритый слуга отвел ему неприветливую комнату с видом на глухую стену соседнего здания. Но Казанова не хотел терять времени; кроме того, его прельстила дешевая цена комнаты, так как в дороге он израсходовал почти все свои наличные деньги; поэтому он решил остановиться временно здесь, смыл с себя пыль и грязь, накопившуюся за долгий путь, секунду подумал, не надеть ли ему парадное платье, но счел все же более уместным остаться в прежнем, скромном и, наконец, вышел из гостиницы. До красивого небольшого дворца, где жил Брагадино, было всего сто шагов по узкому переулку и через мост. Казанова назвал себя молодому, довольно наглому слуге, который сделал вид, будто никогда не слышал его прославленного имени, но потом вышел из покоев своего господина с несколько более приветливым лицом и пригласил гостя в комнаты. Брагадино сидел за завтраком у стола, пододвинутого к открытому окну; он хотел встать, но Казанова этого не допустил.

— Дорогой Казанова! — воскликнул Брагадино. — Как я счастлив, что вижу вас вновь! Да, кто бы мог подумать, что мы с вами еще когда-нибудь свидимся?

И он протянул ему обе руки. Казанова схватил их, как будто собираясь поцеловать, но не сделал этого и ответил на сердечное приветствие словами горячей благодарности, не лишенными высокопарности, от которой не была свободна его речь при подобных обстоятельствах. Брагадино предложил ему сесть и прежде

всего осведомился, завтракал ли он. Получив отрицательный ответ, Брагадино позвонил слуге и дал ему нужные распоряжения. Когда слуга вышел, Брагадино выразил свое удовлетворение по поводу решения Казановы безоговорочно принять предложение Высшего Совета: он не останется внакладе, потрудившись на пользу отечества. Казанова ответил, что он почтет за счастье, если Совет будет им доволен. Он говорил так, но думал совсем иное. Правда, он не чувствовал больше к Брагадино никакой ненависти, даже, скорее, был несколько растроган видом ставшего чудаковатым древнего старика с поредевшей белой бородой и воспаленными веками, сидевшего против него с чашкой, дрожавшей в худой руке. Когда он видел Брагадино в последний раз, ему могло быть столько лет, сколько Казанове сейчас; впрочем, Брагадино уже и тогда казался ему стариком.

Слуга подал завтрак, за который Казанова, не заставляя себя упрашивать, принялся с отменным аппетитом, так как в дороге лишь кое-как закусывал второпях. Да, день и ночь ехал он из Мантуи, так спешил он доказать Высшему Совету свое усердие и принести своему благородному покровителю неизмеримую благодарность. Он говорил это в оправдание почти неприличной жадности, с какой глотал дымящийся шоколад. В окно врывался тысячеголосый шум жизни, кипевшей на больших и малых каналах; однообразные выкрики гондольеров преобладали над всеми остальными звуками; где-то неподалеку, может быть, во дворце напротив,— не во дворце ли Фогаццари? — пел красивый высокий женский голос;

по-видимому, он принадлежал совсем молодой женщине, ее даже не было еще на свете в те времена, когда Казанова бежал из свинцовых казематов. Казанова ел печенье, масло, яйца, холодное мясо и беспрестанно оправдывался в своей ненасытности перед Брагадино, смотревшим на него с довольным видом.

— Люблю,— воскликнул тот,— когда у молодых людей хороший аппетит! Насколько я помню, дорогой Казанова, отсутствием аппетита вы никогда не страдали! — И он вспомнил, как однажды, в первые дни их знакомства, обедал вместе с Казановой, вернее сказать, изумлялся, как и сегодня, своему молодому другу, ибо ему и тогда было до него далеко, это было ведь вскоре после того, как Казанова вышвырнул из дома врача, который вечными кровопусканиями едва не вогнал в гроб бедного Брагадино. Они заговорили о былых временах. Да, тогда жизнь была в Венеции лучше, чем теперь.

— Не везде,— сказал Казанова с тонкой усмешкой, намекая на свинцовые крыши.

Брагадино сделал движение рукой, как бы в знак того, что теперь не время вспоминать мелкие невзгоды. Впрочем, он и тогда пытался, к сожалению, тщетно, спасти Казанову от кары. Да, если бы он уже тогда был членом Совета Десяти!..

Так разговор перешел на политику, и старик, воспламенившись своей темой, с остроумием и живостью своих молодых лет рассказал Казанове очень много интересного о нежелательном направлении умов части нынешней венецианской молодежи и об опасной крамоле, несомненные признаки которой замечаются

в последнее время. И Казанова был совсем неплохо подготовлен, когда он вечером того же дня, который провел, запершись в своей мрачной гостиничной комнате и лишь для успокоения своей встревоженной души разбирая и отчасти сжигая бумаги, отправился в кафе Кадри, находившееся на площади Святого Марка и слывшее главным местом встречи всех вольнодумцев и ниспровергателей основ. Старый музыкант, бывший некогда капельмейстером в театре Сан-Самуэле, том самом, где тридцать лет назад Казанова играл на скрипке, сразу узнал его и самым непринужденным образом ввел в кружок, состоявший преимущественно из молодых людей, чьи имена, как особенно подозрительные, остались у него в памяти после утренней беседы с Брагадино. Но его собственное имя, по-видимому, совсем не произвело на других того впечатления, которого он мог бы ожидать; большинство присутствующих, очевидно, не знало о Казанове ничего, кроме того, что когда-то, давным-давно, он по какой-то причине, а может быть и совсем безвинно, был заключен в свинцовую камеру, откуда бежал, подвергаясь многочисленным опасностям. Книжонка, в которой он много лет назад так живо описал свой побег, правда, была известна, но, по-видимому, никто не прочитал ее с должным вниманием. Казанову несколько забавляла мысль, что он может содействовать тому, чтобы каждый из этих молодых господ поскорее узнал по личному опыту, каковы условия жизни под свинцовыми крышами Венеции и насколько труден побег оттуда; но, не выдав ничем своей ковар-

ной мысли и не дав повода к тому, чтобы кто-нибудь мог о ней догадаться, он также и здесь сумел разыграть из себя безобидного и любезного человека и вскоре на свой манер занял общество рассказами о разных веселых случаях, приключившихся с ним по пути из Рима; эти истории, в общем довольно правдивые, все же были пятнадцати- или двадцатилетней давности. Его еще с увлечением слушали, как вдруг кто-то, вместе с другими новостями, принес весть о том, что какой-то мантуанский офицер убит поблизости от имения своего друга, где он гостил, и тело его ограблено разбойниками вплоть до рубашки. Так как подобные нападения и убийства в ту пору были нередки, этот случай не возбудил у присутствующих особого интереса, и Казанова продолжал свой рассказ с того самого места, на котором его прервали, точно это происшествие имело к нему так же мало отношения, как ко всем остальным; более того, освободясь от тревоги, в которой он сам себе вполне не признавался, Казанова стал рассказывать еще забавнее и смелее.

Полночь уже миновала, когда, быстро прошившись со своими новыми знакомыми, Казанова, никем не сопровождаемый, вышел на широкую пустынную площадь; над нею тяжело нависло облачное беззвездное небо с беспокойно полыхающими зарницами. С уверенностью лунатика, даже не сознавая, что он совершает сейчас этот путь после перерыва в четверть века, Казанова глухими переулками, между темными стенами домов, через узкие мостики над черными каналами, которые

тянулись к вечным водам, нашел дорогу в свою жалкую гостиницу, и ее ворота неохотно и негостеприимно открылись только после долгого стука. Через несколько минут, разбитый усталостью, сковывавшей его тело и не отпускавшей его, с привкусом горечи на губах, словно идущей из самой глубины души, он, полураздетый, бросился на жесткую кровать, чтобы после двадцати пяти лет изгнания уснуть столь долгожданным первым сном на родине, который под утро, тяжелый и без сновидений, сжалился наконец над старым авантюристом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Казанова действительно посетил Вольтера в Ферне, но все остальные происшествия, описанные в настоящей новелле, и в частности то, что Казанова будто бы писал памфлет, направленный против Вольтера, не имеют ничего общего с исторической правдой. Далее, исторически верно, что в возрасте от пятидесяти и до шестидесяти лет Казанова был вынужден заниматься сыском в своем родном городе Венеции; о некоторых других событиях в жизни знаменитого искателя приключений, вскользь упоминаемых в новелле, можно найти более подробные и более верные сведения в его «Мемуарах». В остальном рассказ «Возвращение Казановы» представляет собой свободный вымысел.

А. Ш.

Художник *Е. В. Никитин*
Редактор *Г. И. Ризанова*
Художественный редактор *А. М. Титова*
Технический редактор *В. Г. Агеева*
Корректор *М. Г. Чирикова*
МП «Вернисаж»

Подп. в печать 23.11.92. Формат 70×100/32. П. л. 4,5. Изд.
№ 154600120. Тираж 60 000 экз. С-131. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Набрано в МПО «1-я Обр. тип.»,
отпечатано в Московской тип. № 4 Министерства печати
и массовой информации РФ. Заказ 2000.
129041, Москва, Б. Переяславская, 46



МП
"Верный шаг"